

A movie poster for the Russian film 'The Iron Claw' (Железная лапа). The background shows two men in military uniforms in a grand, ornate room. One man is seated in a large, tufted chair, while the other stands beside him. The room features heavy red curtains, a large chandelier, and a window looking out onto a city with industrial smokestacks. The text is overlaid in large, stylized Cyrillic letters.

СВЕТЛАНА ДРОЗДОВА

МЕХАНИЧЕСКАЯ

ЖАРА-ОТМАН.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Светлана Дроздова

Механическая Жар-птица. Железный век

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Механическая Жар-птица. Железный век / С. В. Дроздова —
«Автор», 2026

Империя задыхается от дыма. Заводы Гордеева работают на пределе, батарейки взрываются, лампы убивают рабочих, а небо над Москвой стало вторым потолком из гари. Царь Адриан объявляет награду за Жар-птицу — и в путь отправляются охотники, богатыри и дельцы. Но никто из них не понимает: свет нельзя поймать силой. Кощей, вливший живое в мёртвое, стал заводом. Гордеев, сжигающий перья, теряет кожу. Силантий, пошедший с мечом, обгорает заживо. А на Огородной улице Иван — «дурак», чинящий мельнички за спасибо, — точит третий валик скворца по слуху, а не по чертежу. Когда перо само ложится в его ладонь, он начинает строить не клетку, а тело для света. Потому что живое — не берут. Живое — слушают. Роман о том, где проходит грань между механизмом и душой.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Механическая Жар-птица. Железный век

Глава 1. Дым над теремом

Тронный зал не был тронным залом.

Последний раз Адриан видел его таким, каким тот полагался быть по замыслу прадеда, — в день коронации. Бархатные портьеры цвета гранатового сока, золочёные витые колонны, паркет из морёного дуба, зеркала в резных рамах, увеличивающие пространство до бесконечности, — всё это блестело и переливалось, и казалось, что дворец не построен, а выдохнут землёй, как кристалл выдыхается из минерала. Тогда Адриан сидел на троне — молодым, растерянным, с тяжёлой короной на голове, которая сползала набок, потому что была выкована для черепа другого размера, — и думал: «Это не моё. Ни зал, ни корона, ни этот запах ладана и воска. Мне сюда не поместиться».

Он ошибся. Он поместился. Просто зал перестал быть собой.

Теперь портьеры были прикрыты деревянными щитами, чтобы не мешать свету — точнее, тому свету, который мог пробиться сквозь оконные стёкла, затянутые копотью снаружи. Золочёные колонны увиты проводами: тонкими, чёрными, похожими на проволочные лианы, которые ползли по стенам и потолку, соединяя коробки с клеммами, рычаги и предохранители. Паркет исчез под грубыми досками, брошенными прямо поверх, чтобы не портить — но уже было поздно не портить: его испарапали ножками тяжёлых столов, изрезали чертёжными булавками, забили гвоздями, в которых не было нужды, но которые вбивались от нервной спешки. Зеркала затянуты полотном. Кому нужны зеркала, когда некому в них смотреться и некогда?

Вдоль стен, поверх обоев цвета слоновой кости, висели схемы. Их было много — десятки, может, сотни. Схемы паровых котлов с пометками красным карандашом: «давление 8 атмосфер — опасно», «подача воды недостаточна», «труба лопнула 14 марта». Чертежи турбин — одни вычерчены аккуратно, линейкой и циркулем, другие нарисованы от руки, наспех, с приписками на полях: «копия с германского образца, оригинал утрачен». Карты нефтяных полей, испещрённые кружками и стрелками, где каждый кружок означал скважину, а каждая стрелка — направление, в котором она могла взорваться. Графики производства: чёрные линии, ползущие вверх, к потолку, к потолку, и упирающиеся в нарисованную красную границу, за которой начиналось то, что Адриан мысленно называл «крахом».

В углу, между двумя колоннами, стоял телеграфный аппарат. Чёрный, литой, на массивной подставке, он щёлкал безостановочно — резким, сухим, насекомым звуком, будто огромный кузнечик забрался в зал и теперь подавал сигналы, которых никто не слушал. Бумажная лента выползала из аппарата, как бледная лента из раны, и ложилась на пол, скручиваясь в кольца, которые потом растапывали сапогами. Телеграф работал сутки напролёт, потому что империя не спала: заводы гудели ночью, телеграфные станции передавали сводки, рабочие сменяли друг друга у конвейеров, а кузнечик в углу щёлкал и щёлкал, и его щёлканье стало таким привычным, что его перестали слышать.

Адриан не сидел на троне. Трон стоял у дальней стены, накрытый чехлом из парусины, и выглядел как мебель, которую забыли вынести. Адриан стоял у чертёжной доски — большой, на козлах, заваленной листами ватмана, поверх которых лежали лекала, линейки, циркули и графитовые карандаши, сточенные до половины. Он водил пальцем по линиям чертежа, будто искал в них ответ — не метафорический, а буквальный: в одной из этих линий, в одном из этих углов, в одном из этих расчётов должно было быть решение. Он верил в это с упорством человека, который больше не верит ни во что другое.

Его поза была усталой. Не той усталостью, что приходит после долгого дня, а той, что накапливается месяцами: плечи опущены, шея напряжена, взгляд сфокусирован на одной точке, но не потому что интересно, а потому что сил нет перевести глаза. Адриану было тридцать четыре. Он выглядел на сорок пять. Седина начиналась от висков и подбиралась к макушке, как плесень к хлебу. Под глазами залегли тени, и не от недосыпа — он спал, по крайней мере, четыре часа в ночь, что было больше, чем многие его министры, — а от постоянного напряжения, которое не отпускало даже во сне. Китель его был расстёгнут у ворота, и это было не небрежностью, а необходимостью: в зале было жарко, потому что паровое отопление, проведённое по новейшему проекту, не поддавалось регулировке и грело так, будто на дворе не ранняя осень, а декабрь.

Из окна — высокого, стрельчатого, выходящего на восток — виден был город. Вернее, виден был дым. Дым стоял над городом, как второе небо: серо-жёлтый, маслянистый, плотный, он стелился по крышам, ложился на купола церквей, обволакивал трубы заводов, которые выросли вокруг кремля за последние пять лет, как сорняки вокруг старого дуба. Дым пах железом, нефтью, угольной пылью и чем-то ещё — сладковатым, тошнотворным, чему Адриан не мог подобрать названия, но знал, что это запах производства, которое работает на пределе. Паровозы гудели в депо — далёкие, низкие, утробные звуки, от которых дрожали стёкла. Они гудели не потому что должны были гудеть, а потому что их трубы забивались сажей и пар прорывался сквозь неё с воплем, будто живое существо, которому не дают дышать.

Адриан смотрел на этот дым и думал: «Мы построили ад. Только без котлов — с турбинами».

Дверь отворилась. Не с скрипом — петли были недавно смазаны, — а с коротким, решительным звуком, который означал: вошёл тот, кто не имеет времени на церемонии.

Боярин Аркадий Дмитриевич Волынский был человеком несообразной наружности: высокий, худой, с лицом, которое казалось вырезанным из дерева, — скулы, нос, лоб, всё заострённое, гранёное, будто топором. Борода его была коротко подстрижена, что для боярина было неслыханно: он обрезал её после того, как в неё попала искра от сварочного аппарата и он едва не сгорел заживо. С тех пор он носил бороду, как носят шрам, — с вызовом. Одет он был не в кафтан, а в сюртук инженера — чёрный, с латунными пуговицами, с карманами, из которых торчали свёрнутые схемы и карандаши. На голове — фуражка с кокардой, которую он не снимал даже в помещении, потому что, говорил он, «голова у меня холодная, а надобно, чтобы горячая была».

— Государь, — сказал он и остановился посередине зала. Не поклонился. Не потому что не уважал, а потому что времени не было.

— Говори, — сказал Адриан, не оборачиваясь. Он продолжал смотреть в чертёж, но пальцы перестали двигаться. Он слышал: по голосу Волынского можно было определить степень беды. Если голос спокойный — беда обычная. Если быстрый — беда срочная. Если тихий — беда большая.

Голос был тихий.

— Нефтяные лампы, — начал Волынский и замолчал на полсекунды, будто подбирал слова. Он никогда не подбирал слова. — Лампы коптят. Я докладывал. Копоть оседает на стенах, на потолках, на коже. На лёгких. Я велел проверить — Яковлев, фабричный врач, — он вскрыл двух рабочих, которые умерли в прошлом месяце. Думали, тиф. Не тиф. Лёгкие чёрные. Совсем. Как уголь.

Адриан повернулся. Медленно, не резко, но Волынский отступил на полшага — не от страха, а от инстинкта, который велел отойти, когда царь начинал слушать по-настоящему.

— Два, — повторил Адриан. Не вопрос. Подтверждение.

— Два в прошлом месяце, — продолжил Волынский, и голос его стал быстрее, будто он торопился выговорить всё, пока его не остановили. — Трое в этом. Но это — лампы. Это полбеда, государь. Беда — батарейки.

Он полез в карман сюртука и выложил на чертёжную доску, поверх ватмана, предмет размером с кулак: металлический цилиндр, оплётённый проводом, с клеммами по бокам. Цилиндр был оплавлен, одна сторона его выгнута, будто что-то распёрло изнутри.

— Это то, что осталось от батарейки, которую рабочий держал в руках на сборке, — сказал Волынский. — Серёга Пеньков. Двадцать три года. Жена. Ребёнок. Батарейка взорвалась прямо в ладонях. Осколки корпуса — в лицо, в грудь. Кислота — на руки, на шею. Он умер через два часа. Не сразу. Два часа он был в сознании.

Адриан взял цилиндр. Повернул в руках. Металл был горячим — не от взрыва, а от кармана Волынского, который носил его, вероятно, с утра, чтобы показать. Царь провёл пальцем по оплавленному краю и почувствовал шероховатость застывшего металла, как шов от раны.

— А второй? — спросил он.

— Второй — Афанасий Крук. Сорок один год. Бригадир. Батарейка взорвалась на стенде, где он проверял клеммы. Осколок пробил горло. Умер сразу.

Волынский замолчал. В тишине было слышно, как щёлкает телеграф. Щёлк-щёлк-щёлк. Как кузнечик, который не знает, что его некому слушать.

Адриан положил цилиндр на доску, рядом с чертежами. Он лёг поверх тонких линий и закрыл их, как труп закрывает простыню.

— Почему взрываются? — спросил Адриан.

— Сборка по спешным чертежам, — ответил Волынский. — Чертежи были переписаны с германского образца, но с ошибками. Полярность перепутана на двух участках. Изоляция некачественная — мы сэкономили на парафине, потому что парафин уходит на свечи. При перегреве — а они перегреваются, потому что ток превышает расчётный — изоляция плавится, замыкание, и... — он указал на цилиндр. — Вот.

— Экономии на парафине, — повторил Адриан. Голос его был ровным, но Волынский услышал в нём что-то, от чего чуть отступил ещё на полшага.

— Государь, — сказал он, — я докладывал о парафине. Трижды. В марте, в апреле и в июне. Смета...

— Я помню, — сказал Адриан. — Не оправдывайся. Что ещё?

— Свет, — сказал Волынский. — Нужен свет, государь. Заводы не могут работать в темноте. Лампы убивают. Батарейки убивают. Свечи — мало света, много пожаров. Масляные фонари — коптят, и масло кончается. Мы пробовали газ — трубки рвутся, газ взрывается. Мы пробовали угольные нити — они горят через час. Нам нужен источник света, которого хватит. Не на час — на год, на десять лет, на сто.

Адриан молчал. Он смотрел на цилиндр, на чертежи, на Волынского, и в его глазах было то, что Волынский видел редко и чего боялся всегда: не гнев, не отчаяние, а расчёт. Холодный, быстрый, безжалостный расчёт, который царь производил, когда принимал решения, менявшие ход вещей.

— Государь, — раздался голос от двери.

Адриан поднял глаза. В дверях стояли бояре — трое, четверо, пятеро. Они входили по одному, тяжело, как люди, которые не хотят, но должны. Они были одеты кто во что: кто в кафтане, кто в сюртуке, кто в мундире. Лица были одинаковыми — напряжённые, настороженные, готовые к смеху, потому что смех был их защитой от всего, чего они не понимали.

Первым вошёл боярин Сумароков — толстый, краснолицый, с бородой до груди, которая покачивалась при ходьбе, как маятник. За ним — Тверской, тощий, с вечно прищуренными глазами, который считал себя умнее всех, потому что прочитал три книги, когда другие не прочитали ни одной. Потом — Оболенский, молодой, старательный, из тех, кто соглашается с последним, кто сказал. И остальные, чьи имена Адриан помнил, но лица которых сливались в одно: бледное, настороженное, готовое смеяться.

— Мы слышали, — сказал Сумароков, и голос его был густым, маслянистым, как нефть, о которой он ничего не знал. — Опять о лампах. О батареях. О свете.

— Опять, — подтвердил Адриан.

— Может, не в лампах дело, — сказал Тверской, и в голосе его была та медлительная интонация, которая означала, что сейчас он скажет что-то «умное». — Может, дело в том, что мы лезем не туда. Электричество, пар, нефть — это всё хорошо, но... — он развёл руками, — не наше это. Не нашим дедам, не нам. Зачем нам свет, который взрывается? Вернулись бы к свечам, к лучинам...

— К лучинам, — повторил Волинский, и в его голосе было что-то, от чего Тверской замолчал. — К лучинам. На заводах, которые работают в три смены. К лучинам, которые горят десять минут и дают свету — как от гнилушки. А потом — пожар, потому что лучина падает на опилки, и... Вы были на пожаре, Тверской? Нет? Ну так не советуйте.

Тверской открыл рот, закрыл. Оболенский хихикнул — коротко, нервно, и тут же спрятал лицо за рукавом.

Адриан поднял руку. Тихо, без усилия, как человек, который останавливает не спор, а воздух. Все замолчали.

И тогда Адриан сказал:

— Жар-птица.

Сумароков фыркнул. Не громко, но слышно. Тверской усмехнулся. Оболенский посмотрел на всех, не понимая, смеяться или нет.

— Перья её горят вечным пламенем, — продолжил Адриан, и голос его не изменился — был таким же ровным, тихим, как прежде. Но в этом голосе появилась нота, которой не было раньше: не уверенность — убеждённость. Разница между ними была в том, что уверенность можно оспорить, а убеждённость — нет, потому что она не от аргументов, а от опыта. — Свет не угасает. Не коптит. Не взрывается. Не убивает.

Тишина. Даже телеграф, будто почувствовав, замолчал на секунду. Потом снова — щёлк-щёлк-щёлк.

— Государь, — сказал Сумароков, и его голос был осторожным, как шаг по тонкому льду, — это сказка. Для детей. Жар-птица — это...

— Я видел перо, — сказал Адриан.

И зал замер.

Не от страха — от неожиданности. Адриан говорил об этом впервые. Никогда, ни разу, ни в каком совете, ни в каком разговоре — ни с кем. Это было его, личное, спрятанное, как спрятано всё, что человеку дорого и что он боится потерять. Он не говорил, потому что знал: если скажет, ему не поверят. А если не поверят — перо перестанет быть правдой и станет легендой, а легенду можно забыть, и забыть легко, как забывают то, чего никогда не держали в руках.

Но сейчас он сказал. Потому что время легенд кончилось. Началось время, когда легенда была единственным, что могло спасти то, что ещё осталось.

— Мне было семь, — сказал Адриан, и голос его стал другим. Не слабее — тише. Не мягче — ближе. Как будто он говорил не залу, не боярам, а себе, семилетнему, который стоял в тёмной комнате и смотрел на свет, который не должен был существовать. — Отец показал. Он

привёз его из Тридевятого царства — перо. В шкатулке. Чёрное дерево, медные петли, внутри — бархат, и на бархате — перо.

Он замолчал, и в этом молчании было всё: запах отцовского кафтана — кожи, оружейного масла, чего-то ещё, чего он не мог вспомнить, но чувствовал до сих пор, тридцать лет спустя. Запах шкатулки — старого дерева, закрытого пространства, как из погреба. И свет. Свет, который шёл от пера.

— Оно светилось, — сказал Адриан. — Не так, как свеча, не так, как лампа. Оно светилось изнутри, будто внутри него горело что-то маленькое, живое, тёплое. Не раскалённое, не обжигающее — тёплое. Как кожа живого существа. Я взял его в руки, и оно было... — он помолчал, подбирая слово, и нашёл его, и оно было точным: — ...живым. Оно дышало. Не метафорой — оно было тёплым, и тепло это пульсировало. Едва заметно, но пульсировало, как пульс. Я держал его в ладонях, и мне казалось, что я держу чьё-то сердце.

Сумароков не смеялся. Тверской не усмехался. Оболенский смотрел на царя и не моргал.

— А потом его украли, — сказал Адриан, и голос его вернулся. Стал прежним — ровным, холодным, расчётливым. Будто дверь закрылась: та, через которую на секунду вышел семилетний мальчик, ушёл обратно. — Через год. Я не знаю кто. Я не знаю как. Я знаю, что оно пропало, и я знаю, что с тех пор — с тех самых пор, с того дня — всё начало ломаться.

Он обвёл рукой зал: провода, схемы, чертежи, телеграф, окно, за которым стлался дым.

— Вот это. Всё это. Оно началось тогда. Мы заменили свет на уголь, на нефть, на электричество — на всё, что могли добыть из земли, из камня, из железа. И всё это горит. И всё это убивает. И всё это — не то. Потому что то, что светило, было живым. А то, чем мы заменили, — мёртвое. И мёртвое не может светить. Оно может только гореть. И оно горит — нас.

Тишина. Длинная, густая, как дым за окном.

Потом Сумароков сказал:

— Государь... Вы серьёзно?

— Я всегда серьёзен, Аркадий Павлович, — ответил Адриан. — Вы бы давно заметили, если бы не были заняты тем, чтобы не замечать.

Сумароков побагровел, но промолчал. Адриан повернулся к Волинскому.

— Аркадий Дмитриевич.

— Государь.

— Ты сказал: нужен источник света, которого хватит на сто лет.

— Да.

— Жар-птица — источник света, которого хватит на вечность.

Волынский молчал. Он смотрел на царя, и на его лице — деревянном, гранёном, вырезанном, как он сам говорил, из дуба — появилось выражение, которое Адриан видел один раз: когда Волынский увидел чертёж турбины, которую считал невозможной, и понял, что она будет работать. Не вера — расчёт. Не надежда — понимание.

— Её нужно найти, — сказал Адриан, и теперь его голос изменился. Не стал громче — стал твёрже. Как будто из голоса убрали всё лишнее: сомнение, усталость, боль, — и остался только остов, как остаётся остов здания, когда с него снимают облицовку. — Жар-птицу. Живую. Или мёртвую — мне всё равно.

Он обвёл взглядом бояр.

— Это приказ. Не просьба. Не совет. Не тема для обсуждения. Приказ. Вы найдёте её. Вы найдёте перья, вы найдёте гнездо, вы найдёте тропу, по которой она летает, — что угодно, где угодно, как угодно. Вы найдёте её, потому что если не найдёте — через год, через два, через пять — не будет империи. Будет дым. Будут трупы. Будут заводские трубы, из которых ничего не идёт, потому что некому будет в них дуть. И вы будете стоять в этом дыму и вспоминать, что царь просил вас найти птицу, а вы смеялись.

— Государь, — начал Тверской, — но... где искать? Тридевятое царство — это же сказка, это...

— Тридевятое царство, — перебил Адриан, — это место, откуда мой отец привёз перо. Не сказку. Место. Вы найдёте это место. Или найдёте того, кто знает, где оно. Или найдёте того, кто знает того, кто знает. Но вы найдёте.

Он помолчал.

— Наград не будет. Будут последствия. Для тех, кто найдёт — потом. Для тех, кто не будет искать — сейчас. Вы поняли?

Сумароков кивнул. Не говоря ни слова. Тверской опустил глаза. Оболенский побледнел, и его молодое лицо стало старше на десять лет.

Бояре ушли. Тихо, по одному, как вышли — тяжело, неохотно. Но ушли. Сумароков последний — он остановился в дверях, обернулся, хотел что-то сказать, но не сказал. Покачал головой и вышел.

Зал опустел. Волынский остался. Он стоял у чертёжной доски, рядом с царём, и молчал, потому что знал: когда Адриан молчит, нужно молчать тоже.

Адриан подошёл к столу — тяжёлому, дубовому, единственному предмету в зале, который сохранился от прежней обстановки. Он выдвинул нижний ящик, достал футляр. Маленький, чёрного дерева, с медными петлями, потемневшими от времени. Открыл.

Пусто.

Бархат внутри — тёмно-красный, как засохшая кровь. Вмятина от пера — едва заметная, будто отпечаток пальца. И больше ничего.

Адриан провёл пальцем по вмятине. По ней. По той, что осталась от пера, которое светилося, которое было тёплым, которое дышало, которое украли. Он коснулся бархата, и бархат был холодным. Не просто не нагретым — холодным, как бывает холоден предмет, который давно никто не держал, который забыл, что такое тепло, что такое чужие руки, что такое свет.

Он закрыл футляр. Вложил в ящик. Задвинул.

Подошёл к окну. Прижал лоб к стеклу — холодному, грязному, закопчённому, — и закрыл глаза.

Дым стелился над городом. Серо-жёлтый, маслянистый, бесконечный. В нём тонули купола, трубы, крыши. Пар из заводских котлов поднимался к небу и растворялся в тучах, и казалось, что небо тоже — дым, только верхний слой, и что весь мир теперь состоит из дыма, и нет под ним ничего, ни города, ни земли, ни людей — только дым, и железо, и нефть, и гарь.

Но царь знал: скоро он почувствует запах огня, который не потушить водой.

Телеграф щёлкнул. И снова. И снова.

Дым пах железом и нефтью. И тишиной — той, что бывает перед тем, как что-то начнётся.

Глава 2. «Самоходная повозка боярина Гордеева»

Сцена 1. Выезд из особняка

Утро над Москвой-рекой вставало серое, тяжёлое, как ватное одеяло, которым накрывают больного. Туман полз с воды, смешивался с угольной пылью, что несло из трубочных районов Замоскворечья, и ложился на крыши, на заборы, на мокрые булыжники мостовой, будто собирался душить город медленно и без свидетелей.

Ворота особняка боярина Гордеева отворились с протяжным скрежетом — железные петли взвыли так, будто их не смазывали месяцы. Может, так и было. Гордеев не терпел, когда от смазки пахло салом: ему претило любое напоминание о том, что в мире существуют дешёвые вещества.

Самоходная повозка стояла во дворе, как породистый зверь перед прыжком. Она была огромна — длиннее кареты, запряжённой шестёркой лошадей, и шире двух телег, поставленных рядом. Кузов — из тёмного, почти чёрного дуба, окованного медными полосами, начищенными до зеркального блеска. Угольный котёл, вмурованный в заднюю часть повозки, тихо шипел, выпуская из предохранительного клапана тонкую струю белого пара, которая тут же растворялась в тумане. Медные трубы — их было четыре, по две с каждого борта — поднимались над крышей, изгибаясь, как рога быка, и из них вырывались клубы серого дыма с запахом жжёного угля и раскалённого металла. Кожанный салон — из тиснёвой кожи цвета бычьей крови — поблёскивал в свете фонарей, которые ещё не были потушены: денщик не успел, а Гордеев не стал его торопить. Не из доброты — из безразличия.

Шофёр-механический слуга стоял у подножки, неподвижный, как статуя. Он был сделан из лужёного железа и меди, лицо его — медная маска без выражения — блесело тускло, как старая монета. Глаза — два мутных стеклянных кружка, за которыми мерцали угольки внутреннего огня. Движения его были резкими, точными и мёртвыми: он мог развернуться на месте с такой скоростью, что медные сочленения щёлкали, как кастаньеты, но ни разу не дрогнул и ни разу не проявил того, что можно было бы принять за hesitation. Он был идеальным слугой: не ел, не спал, не жаловался, не боялся.

Гордеев вышел из дверей особняка, застегивая на ходу перчатку — тонкую, замшевую, тёмно-вишнёвую. Движения его были медленными, ленивыми, как у сытого хищника, который знает, что добыча никуда не денется. Он был высок, худ, с узким лицом и тёмными глазами, в которых не было ни тепла, ни даже обычного человеческого любопытства. Эти глаза были похожи на два отверстия, прорубленные в маске: за ними что-то было, но что именно — разглядеть не удавалось. На подбородке — короткая, аккуратно подстриженная борода, серая от седины, хотя Гордееву не было и сорока. На голове — круглая меховая шапка, сдвинутая чуть назад, будто он презирал даже холод.

— Заводи, — бросил он, не глядя на шофёра, и пошёл к повозке.

Слуга-денщик — мальчишка лет пятнадцати, тощий, с вечно испуганными глазами — замешкался у подножки. Он нёс подушку, которую клал под ноги боярину в салоне, и в этот момент чихнул — от пыли, от угольной гари, от того, что котёл плюнул стружкой пара ему под ноги. Мальчишка вздрогнул, подушка выскользнула из рук, он шагнул к подножке, чтобы поднять, и тут Гордеев, не замедляя шага, ткнул его в плечо. Не сильно — просто не заметил, как человека, как препятствие. Мальчишка отлетел в сторону, упал на мокрую булыжную мостовую, ударился коленом и вскрикнул. Гордеев перешагнул через подушку, через мальчишку, через его крик — и сел в салон, откинувшись на спинку.

— Не задерживай, — сказал он шофёру, и голос его был ровным, без раздражения, без злобы. Просто факт. — Время — деньги, а жалость — убыток.

Шофёр-механический слуга двинулся к водительскому месту, и его сочленения щёлкнули шесть раз — ровно шесть, как всегда. Он дёрнул рычаг подачи угля, котёл взревел, из труб вырвались два столба густого дыма, и повозка тронулась, тяжело, неотвратно, как приговор.

На перчатке Гордеева, на тыльной стороне левой руки, темнело пятно сажи — круглое, маленькое, едва заметное. Он не видел его. Он не смотрел на руки, когда надевал перчатки. Но пятно было — отметина, которую оставил ему последний из посланных, когда тот, умирая, схватил его за руку и прохрипел: «Она видит тебя...» Гордеев тогда отдёрнул руку, вытер перчатку о полу кафтана, но сажа въелась. Он думал, что это просто грязь. Просто грязь.

Сцена 2. Поездка по городу

Самоходная повозка боярина Гордеева не ехала — она гремела. Каждый камень мостовой отзывался стуком железных колёс, каждый стык — лязгом, каждая лужа — шипением, когда пар из труб касался воды. Машина весила столько же, сколько четыре гружёные телеги, и

мостовая под ней стонала, хоть и была вымощена добротным калужским камнем, уложенным ещё при царе Алексее, когда про пар ничего не знали и не подозревали, что однажды по этим камням поползёт железный зверь, не знающий ни жалости, ни усталости.

Гордеев сидел в салоне, откинувшись на спинку, и смотрел в окно с выражением, которое у другого человека можно было бы принять за скуку. Но Гордеев не скучал. Гордеев считал. Он считал дома, которые нужно снести, чтобы расширить дорогу к его мануфактуре. Считал людей, которых нужно выселить, чтобы построить склады. Считал уголь, который нужно закупить, и рабочие руки, которые нужно купить — именно купить, потому что Гордеев никогда не нанимал людей, он покупал их, как покупают скот, и относился к ним соответственно.

Улицы были узкие, утренние, полные нищих, бродяг и собак. Собак в Москве было много — после последней эпидемии их развелось столько, что никто не считал. Они спали под заборами, рылись в мусоре, сбивались в стаи и выли по ночам, но днём были тихи и жалки — лохматые, тощие, с мокрыми глазами, которые смотрели на людей с мольбой, на которую никто не отвечал.

— Быстрее, — сказал Гордеев.

Шофёр дёрнул рычаг. Котёл взревел, колёса завизжали по мокрому камню, и повозка рванула вперёд.

Стая собак — пять или шесть — дремала у стены дома, прижавшись друг к другу для тепла. Они не успели разбежаться. Первую машину ударила в бок — короткий глухой звук, как если бы мешок с мукой упал с телеги. Вторую проехала колесом — хруст, тонкий визг, который оборвался так резко, будто оборвался вместе с жизнью. Остальные с воем бросились врассыпную, подворачивая хвосты, прижимая уши, и на мгновение на мостовой остались только два тела — одно неподвижное, другое ещё дёргающееся, и красное пятно, которое тут же размазывалось под колёсами.

Гордеев не повернул головы.

— Дым, — сказал он. — Дым и грязь. Не больше.

На перекрёстке у Хитрова рынка толпа рабочих — штук тридцать, может, больше — текла через дорогу, как река через мельничный жёлоб. Они шли с ночной смены, серые, чёрные, с лицами, на которых копоть легла так глубоко, что проступала даже сквозь морщины. Они не видели повозки — пар и дым закрывали обзор, а звук мотора они приняли за обычный утренний грохот промышленного района, к которому давно привыкли.

Шофёр не затормозил. Он не умел тормозить быстро — конструкция не позволяла, — но даже если бы могла, Гордеев не велел бы. Повозка вошла в толпу, как нож в тесто. Люди отпрыгивали в стороны, кто-то упал, кто-то закричал. Один — молодой, лет двадцати, с ещё светлыми глазами на чёрном лице — не успел отскочить. Нога его попала под колесо. Звук был такой, будто ломают сухую ветку — только ветка была толщиной с человеческую лодыжку. Крик — короткий, высокий, женский, хоть кричал мужчина, — и тишина, которая была хуже крика.

Гордеев поморщился. Не от жалости — от звука.

— Убери это с дороги, — сказал он шофёру, хотя шофёр был за рулём и не мог ничего убрать. — Не хочу видеть грязь.

И повозка поехала дальше, оставив позади крик, толпу, и молодого рабочего, который лежал на мостовой и смотрел в серое небо глазами, в которых ещё не успела померкнуть жизнь.

В этот момент — когда повозка свернула на Орликов переулок, где дорога расширялась и дома кончались, уступая место пустырям и фабричным трубам, — Гордеев увидел что-то. Или ему показалось. В клубах пара, которые вырывались из правой трубы, мелькнул яркий, оранжевый, почти золотой язык пламени — не похожий на обычный угольный огонь, который был красным и грязным. Это было чистое, ровное, жаркое сияние, как будто в паре растворилось солнце. Гордеев дёрнулся, подался вперёд, прижался лицом к стеклу — но в следующее мгновение сияние исчезло, и из трубы шёл только серый дым, обычный, вонючий, безразличный.

— Дым, — повторил Гордеев, но на этот раз его голос был чуть тише, чуть медленнее, будто он говорил не столько шофёру, сколько себе. — Просто дым.

Он откинулся на спинку. Но перчатки сжал в кулак, и пятно сажи на тыльной стороне ладони почернело, будто впитало ещё один слой.

Сцена 3. Прибытие к бывшему замку Кощея

Замок Кощея Бессмертного стоял на холме, в семи верстах от последней заставы, там, где Москва-река делала крутую излучину и земля переходила в болото, а болото — в лес, который никто не рубил, потому что в нём жили те, кого лучше не будить. Замок был стар — старше Москвы, как говорили, — и построен из тёмного камня, который был не то серым, не то чёрным, а в зависимости от света принимал цвет мокрой крови. Башни его — их было три — когда-то были острыми, как иглы, и на каждой горел магический огонь, видный за десятки вёрст. Теперь на башнях стояли дымоходы — чугунные трубы, из которых день и ночь шёл дым, чёрный, жирный, пахнувший углем и гарью. Витражные окна, через которые когда-то лился свет, были заколочены металлическими пластинами. Стены, на которых была высечена резьба — змеи, драконы, птицы с человеческими лицами, — покрылись слоем сажи, и фигуры казались погребёнными под чёрной коркой, как мумии под бинтами.

Гордеев купил этот замок три года назад, у última наследницы Кощея — дальней родственницы, которая не унаследовала ни бессмертия, ни магии, только долги и запущенное строение. Он заплатил ей копейки — по сути, просто покрыл её долги — и она была благодарна. Она не знала, что покупает не недвижимость: она покупала право на то, что хранилось в стенах и подземельях замка, — знание, карты, ингредиенты и, главное, указания на то, где в Тридевятином царстве можно найти то, чего не найти ни в одном магазине, ни в одном рынке, ни в одной лавке московских аптекарей.

Перья Жар-птицы.

Повозка остановилась у ворот. Ворота были новыми — железные, на петлях, с механическим замком, который открывался рычагом изнутри. Надсмотрщик — здоровый, рыжий

мужик с кнутом на поясе — кивнул Гордееву и дёрнул рычаг. Ворота открылись, и Гордеев увидел свою мануфактуру.

Двор был полон людей. Рабочие — мужчины, женщины, подростки — двигались между станками, печами, телегами и штабелями угля. Они были чёрные от копоти, одежда — лохмотья, руки — обожжённые, лица — серые, как пепел. Они не разговаривали. Разговаривать запрещалось в рабочее время — Гордеев считал, что разговоры снижают производительность. Надсмотрщики с кнутами стояли по углам и следили.

Гордеев вышел из повозки, поправил шапку и пошёл к главному зданию — к замку, к тому, что когда-то было замком, а теперь было конторой, складом и мастерской одновременно. Его шаги были уверенными, тяжёлыми, и рабочие расступались перед ним, как вода перед носом корабля. Никто не смотрел ему в глаза. Все знали: встретиться глазами с боярином Гордеевым — значит стать замеченным, а стать замеченным — значит стать уязвимым.

У входа его ждал начальник охраны — сухой, жилистый, с лицом, на котором навсегда застыло выражение готовности. Звали его Степан, но никто не звал его по имени — все говорили «начальник», а Гордеев говорил «ты».

— Ну? — спросил Гордеев, не поздоровавшись.

Степан сглотнул. Он не любил сообщать плохие новости, особенно когда плохие новости были такими.

— Третий... — начал он и замолчал.

— Говори.

— Третий вернулся, — Степан опустил глаза. — Вернулся... в плохом виде. Руки обгорели. Кожи нет. Лицо... лицо было ещё целое, но он не смотрел. Он не смотрел ни на что. Бредил.

— Что говорил?

— Первые два дня — бессвязно. Имена, цифры, всякое. На третий день... — Степан помолчал. — На третий день он позвал вас. Сказал, что должен передать. Я подошёл. Он схватил меня за руку и сказал... — Степан опять сглотнул. — Сказал: «Она видит тебя. Она помнит». И умер.

Тишина. Двор был полон звуков — стук молотов, шипение пара, скрежет железа, — но для Гордеева в этот момент всё замолчало. Он стоял неподвижно, и лицо его не изменилось — ни одна мышца не дрогнула, ни один мускул. Только глаза — на мгновение, на долю мгновения — сузились, как у зверя, который почуял что-то незнакомое.

— Суеверия, — сказал он. — Нам нужны перья, а не сказки. Кто был этот третий?

— Корней. Из кузнецов.

— Из кузнецов, — повторил Гордеев, и в голосе его мелькнуло что-то похожее на досаду, но не из жалости — из расчёта. Кузнец — это ценный работник. Потерять кузнеца — это как потерять шестерёнку из редуктора: найти замену можно, но это стоит времени и денег. — Жаль. Хорошо. Кто следующий?

Степан посмотрел на него, и в глазах его мелькнуло что-то — не страх, не ужас, а скорее усталое удивление, как у человека, который давно перестал ждать от жизни чего-то другого.

— Есть двое охотников. Из тех, что ходили в Сибирь за соболем. Говорят, не боятся ничего.

— Не боятся — это хорошо. Не боятся — значит, не убегут. Пусть будут готовы через три дня. Дай им деньги, оружие, карту. Карту — ту, что из хранилища. И скажи им: если вернутся с перьями — получают столько, сколько не заработают за десять лет. Если не вернутся... — он помолчал. — Если не вернутся, я не буду их искать.

Сцена 4. Кабинет Гордеева в замке

Кабинет Гордеева располагался в башне — в той, что когда-то была главной, кощеевой, где хранилась магия, а теперь хранились бумаги. Стены башни были толстыми — в два аршина каменной кладки — и окна выходили на все четыре стороны, но Гордеев приказал заложить три из четырёх кирпичом: ему не нужен был обзор, ему нужна была сосредоточенность. Одно окно — на восток, на болото, на лес, на Тридевятое царство, которое лежало где-то за этим лесом, — осталось открытым, и через него лился утренний свет, серый, водянистый, не похожий на настоящий день.

Стол — из тёмного, почти чёрного дуба, такого старого, что дерево превратилось в камень. На столе: стопки бумаг — счета, накладные, расчёты, — чертежи машин, и в стороне, под стеклянным колпаком, — три пера.

Перья Жар-птицы.

Они были невелики — размером с гушиное, может, чуть длиннее, — и на первый взгляд казались обычными: оранжево-золотистыми, с красноватыми прожилками, как угли в остывающем костре. Но если смотреть достаточно долго — а Гордеев смотрел часто, подолгу, с выражением, которое у него не появлялось больше ни при каких обстоятельствах, — можно было заметить, что они не остывают. Угли в костре гаснут, темнеют, становятся пеплом. Перья не темнели. Они мерцали — ровно, тихо, как светлячки в тёплую ночь, — и это мерцание было не внешним, не отражённым, а внутренним: как будто внутри каждого пера горел огонь, малюсенький, вечный, не нуждающийся ни в дровах, ни в воздухе, ни в чём.

Гордеев не знал, что этот огонь — живой. Он считал его физическим явлением: что-то вроде самовозгорания, естественного процесса, который можно изучить, измерить и поставить на службу. Он был человек науки — по крайней мере, он так себя называл, хотя наука для него была не поиском истины, а инструментом, как молот или кувалда.

В кабинет вошёл помощник — единственный человек в мануфактуре, которому разрешалось входить без стука. Звали его Алексей Петрович, был он из разорившихся дворян, образован, осторожен, и единственный, кто осмеливался — изредка, тихо, с оглядкой — возражать боярину.

— Слушаю, Алексей. Докладывай.

— Боярин, — Алексей Петрович стоял у двери, не решаясь подойти ближе. — По поводу... по поводу экспедиции.

— Ну?

— Я... — он замялся. — Я хочу сказать, что... третий, Корней, перед смертью... то, что он сказал...

— Что — то, что он сказал? — Гордеев поднял глаза от чертежа, и Алексей Петрович сглотнул.

— «Она видит тебя. Она помнит». Боярин, это... это не просто бред. Обождённые, которые бредят, обычно несут чепуху — об огне, о боли, о семье. А Корней говорил осмысленно. Он смотрел мне в глаза — нет, он смотрел сквозь меня, как будто смотрел что-то за мной, — и голос его был... спокойным. Он не бредил, когда говорил это. Он знал, что говорит.

Гордеев откинулся в кресле и посмотрел на Алексея Петровича с выражением, которое было хуже гнева — с выражением терпения, которое вот-вот кончится.

— Алексей. Сколько лет ты у меня?

— Седьмой год, боярин.

— Седьмой год. И до сих пор веришь в проклятия?

— Я не верю в проклятия. Я верю в то, что...

— В то, что перья могут быть опасны? Конечно, могут. Угарный газ тоже опасен, но мы научились с ним работать. Порох опасен. Паровые котлы опасны — каждый второй взрывается, если за ним не следить. Всё, что имеет силу, — опасно. Именно поэтому оно и имеет силу. Проклятия не работают на паровых машинах, Алексей. Работают только деньги и сталь. — Он постучал пальцем по чертежу. — Вот эта машина — она будет работать на перьях. Она будет производить в десять раз больше, чем десять человек, и не попросит ни хлеба, ни водки, ни выходного. Она не забастует. Она не убежит. Она не умрёт от холеры. Она будет молчать, работать и молчать. Вот что мне нужно. Не молитвы, не проклятия — молчание и работа.

Алексей Петрович помолчал. Потом сказал, тихо, почти шёпотом:

— А если она не будет молчать?

Гордеев не ответил. Он встал, подошёл к стене, на которой висела карта — большая, на воловьей коже, с рисунками гор, рек, лесов и замков. Карта Тридевятого царства — един-

ственная в своём роде, добытая из кощева хранилища. На ней красными крестиками были отмечены места, где побывали экспедиции. Два крестика — там, где пропали люди. Один — там, где Корней нашёл перья и где обжёгся. Крестики были маленькие, аккуратные, нарисованные рукой Гордеева. Он смотрел на них и улыбался — не ухмылкой, не оскалом, а тонкой, спокойной улыбкой человека, который видит на карте свои владения, хотя ещё не владеет ими.

— Через неделю, — сказал он, — здесь будет ещё один крестик. И рядом — отметина другого цвета. Золотая.

Сцена 5. Испытание прототипа машины на перьях

Испытательный двор находился за замком, в низине, между холмом и болотом. Земля здесь была мягкой, чёрной, пахнувшей торфом и гнилью, и ноги утопали в ней, как в тесте. Двор был обнесён забором — не для безопасности, а для тайны: Гордеев не хотел, чтобы кто-нибудь видел, что здесь происходит, пока всё не будет готово.

Прототип стоял посреди двора — уменьшенная копия самоходной повозки, размером с телегу, без кожаного салона и медной отделки. Грубый железный котёл, четыре колеса, рычаги, вентили, трубы. Простая, функциональная, безобразная. Гордеев не любил безобразное, но терпел его в промежуточных стадиях: палачев топор тоже безобразен, но без него не добиться порядка.

Рядом с прототипом стояли трое механиков — из тех, кого Гордеев привёз из-за границы, из Англии, за большие деньги. Они были молчаливы, аккуратны, и каждый из них знал, что одно неверное движение — и его отправят назад, без денег, без рекомендаций, без будущего. Они работали с паровыми машинами всю жизнь, но то, что они собирались сделать сегодня, было для них новым: запустить котёл не на угле, а на перьях Жар-птицы.

Гордеев стоял в стороне, у забора, руки скрещены на груди, шапка сдвинута назад. Рядом — шофёр-механический слуга, неподвижный, как всегда, с медной маской вместо лица.

— Начинайте, — сказал Гордеев.

Старший механик — седой, жилистый, с лицом, изрезанным морщинами, как старая древесина, — взял щипцами одно перо из стеклянного колпака (его принесли из кабинета) и положил в топку котла. Перо коснулось металла — и вспыхнуло. Не так, как вспыхивает уголь: медленно, неохотно, с дымом и копотью. Перо вспыхнуло мгновенно, ярко, бесшумно, и пламя его было не красным и не оранжевым, а золотым — чистым, ровным, как расплавленное золото, — и жар от него был таким, что механик отпрянул, выронил щипцы и прижал руку к лицу.

— Закройте топку! — крикнул Гордеев.

Механик захлопнул дверцу топки. Но пламя не погасло — оно полыхало за чугунной дверцей, и свет его пробивался через щели, золотой, неестественный, живой. Котёл загудел — низким, глубоким, вибрирующим звуком, которого никто из механиков никогда не слышал от паровой машины. Это был не рёв, не гул, не свист — это было гудение, как будто котёл не просто кипел, а пел.

Пар пошёл из труб. Но пар был не белый, не серый, а ярко-оранжевый, как заходящее солнце, и в нём, в клубках этого оранжевого пара, мелькали искры — мелкие, золотые, живые, как будто в паре кипела тысяча светлячков.

— Что это? — прошептал один из механиков, и голос его дрожал.

— Работает, — сказал Гордеев, и глаза его загорелись — впервые за всё утро, впервые, может быть, за весь год. — Работает, чёрт вас дери. Смотрите: давление растёт, котёл держит, пар идёт. Машина работает на одном перо! Одним! Сколько угля нужно, чтобы получить такой пар? Пуд? Два? А здесь — одно перо, размером с...

Он не договорил.

Котёл взревел. Не загудел — взревел, как зверь, которого разбудили, и из труб вырвались не клубы пара, а языки пламени — оранжевые, золотые, длинные, как руки, которые тянутся к чему-то. Давление на манометре подскочило — стрелка метнулась в красную зону и замерла, дрожа, как живая.

— Стоп! — крикнул старший механик. — Перегрев! Стоп!

Он бросился к котлу, схватился за вентиль сброса давления — и тут вентиль взорвался. Не сорвался, не треснул — именно взорвался, с коротким, резким хлопком, как пистолетный выстрел. Струя пара — оранжевого, золотого, обжигающего — ударила механика в лицо. Он закричал — коротко, резко, как кричат от боли, которую невозможно вынести, но которую приходится вынести, потому что нет другого выхода, — и упал навзничь, хватаясь за лицо, катаясь по земле, и руки его горели, и лицо его горело, и крик его тонул в рёве машины, которая не умолкала.

— Выключите! — крикнул Гордеев, но его голос был потерян в грохоте.

Второй механик — самый молодой, лет двадцати пяти — бросился к рычагу подачи. Он дёрнул рычаг вниз — и котёл захлебнулся. Рёв оборвался, пламя в трубах мигнуло и погасло, пар рассеялся, и наступила тишина — густая, тяжёлая, как вата, набитая в уши.

Механик на земле не двигался. Лицо его было красным, мокрым, без кожи — как у Корнея, как у тех, кто возвращался из Тридевятого царства. Он дышал — коротко, хрипло, рвано, — но не открывал глаз.

Гордеев подошёл, посмотрел на него сверху вниз. Лицо его было спокойным.

— Замените его, — сказал он молодому механику, который стоял, прижавшись спиной к прототипу, и руки его тряслись. — И почините машину. Котёл выдержал, трубы выдержали, вентиль — нет. Замените вентиль на более прочный. К вечеру хочу видеть рабочий прототип.

Он повернулся, чтобы уйти, и в этот момент — на секунду, на долю секунды — в остывающем пламени, которое ещё тлело в топке, мелькнул силуэт. Не тень — силуэт. Крылья. Раскинутые, огромные, золотые, как будто птица — огромная, невиданная, невозможная — на мгновение проявилась в огне, как отражение в зеркале, и тут же исчезла.

Гордеев замер. Он видел. Он определённо видел. Но когда моргнул — в топке было пусто. Только тлели остатки пера, и пепел его был золотым, не серым.

И в этот момент шофёр-механический слуга — мёртвая, медная, бездушная машина — дрогнул. Его медные сочленения щёлкнули не шесть раз, как всегда, а семь. Седьмой щелчок был лишним, неправильным, и Гордеев, который всё замечал, заметил и это. Он посмотрел на шофёра. Шофёр стоял неподвижно. Стеклообразные глаза смотрели в пустоту. Угольки за стеклом мерцали ровно.

— Ладно, — сказал Гордеев. — Ладно.

Он не сказал «показалось». Он не сказал «ерунда». Он сказал «ладно» — слово, которое не значило ничего и значило всё, — и пошёл к повозке.

Сцена 6. Вечер. Возвращение в город

Дорога обратно была другой. Не потому что изменилась — та же мощёная мостовая, те же дома, те же фонари, — а потому что свет был другим. День не наступил: туман не рассеялся, а загустел, как кисель, и стал серо-жёлтым, болезненным, как кожа умирающего. Солнце, если оно и было где-то за этой пеленой, не пробивалось, и свет — рассеянный, ватный, без теней — делал всё плоским, неживым, будто мир нарисовали на картоне и поставили перед окном повозки.

Пар от машины смешивался с туманом, и казалось, что повозка не едет по дороге, а плывёт по молоку — белому, густому, непроницаемому. Звуки — стук колёс, шипение котла, скрип железа — были приглушёнными, как будто их заворачивали в ткань. И в этой приглушённости, в этой белизне, в этой тишине, которая была не тишиной, а отсутствием чего-то, чего Гордеев не мог назвать, — он почувствовал холод.

Не от тумана. Не от окна, которое было приоткрыто. Холод был сзади — сзади, за спиной, в затылок, как дыхание. Медленное, ровное, тёплое — нет, не тёплое: горячее. Как будто кто-то стоял за его спиной и дышал ему в затылок, и дыхание это было жарким, как от костра, как от печи, как от... пера.

Гордеев обернулся. Резко, быстро, как зверь, — и увидел пустой салон. Кожаные сиденья, медные заклёпки, тиснёная обивка, тень от окна на полу. Никого. Только пар — серый, обычный — просачивался через щель в окне и таял в воздухе.

Он медленно повернулся обратно. Руки на коленях не дрожали. Лицо было спокойным. Но внутри — где-то глубоко, за стенами, которые он выстроил за годы безжалостной жизни, — что-то сдвинулось. Не сломалось, не треснуло — сдвинулось, как камень, который лежал неподвижно сто лет и вдруг качнулся на полдюйма.

— Завтра, — сказал он шофёру, и голос его был ровным, но чуть тише, чем обычно. — Завтра мы отправим ещё одну экспедицию. Перья должны быть у меня через неделю.

Шофёр щёлкнул сочленениями — шесть раз. Ровно шесть. Семь не было. Семь — не было.

Повозка ехала по туману, по молоку, по белой, непроницаемой белизне, и Гордеев смотрел вперёд, и лицо его было лицом человека, который идёт к цели и не собирается останавливаться. Но пятно сажи на перчатке — круглое, маленькое, тёмное — почернело ещё на один оттенок, и если бы Гордеев снял перчатку и посмотрел на кожу, он увидел бы, что пятно перешло с замши на руку, на живую, тёплую кожу, и что оно — не смывается.

А в небе — высоко, за туманом, за облаками, там, где воздух был чистым и холодным, — мелькнула яркая вспышка. Не молния — молнии не горят золотом. Не падающая звезда — звёзды не возвращаются. Вспышка была короткой, яркой, и след от неё был оранжевым, как перо, как огонь, как память о чём-то, что не забыто и не прощено.

Она видит тебя.

Она помнит.

Глава 3. «Кошечев завод»

Сцена 1. Латунные слуги

Утро над мануфактурой вставало не так, как над городом. В городе утро начиналось с звука: с гудка заводов, с лязга цепей, с криков торговцев на рынках, с лая собак, с скрипа ворот. Здесь, на холме, где стоял бывший замок Кошея, утро начиналось с гудения. Не с гудка, не с колокола — с гудения, которое шло из-под земли, из стен, из труб, и которое никогда не прекращалось, ни на секунду, ни ночью, ни днём, — ровное, низкое, утробное, как дыхание спящего зверя, слишком большого, чтобы его разбудить, и слишком живого, чтобы он умер.

Гордеев вышел из повозки, поправил перчатку — ту самую, с пятном сажи, которое стало темнее за ночь, хотя он не помнил, чтобы касался угля, — и оглядел двор. Двор был его. Замок был его. Мануфактура была его. Латунные слуги, которые сходили с конвейера в главном цехе, были его. Всё было его — купленное, оплаченное, подчинённое, — и Гордеев, который измерял мир в деньгах и стали, был доволен.

Он пошёл к цеху.

Конвейерный цех располагался в пристройке к замку — длинной, одноэтажной, с кирпичными стенами и чугунными трубами на крыше, из которых шёл пар. Не тот пар, что из котлов самоходной повозки — белый, обычный, безразличный, — а пар с запахом латуни и раскалённой меди, сладковатым, металлическим, который въедался в ноздри и не выветривался. Гордеев вошёл, и его встретил Степан — молча, кивком, как всегда, — и они пошли вдоль конвейера.

Конвейер был сердцем мануфактуры. Длинный, в двадцать сажень, он тянулся через весь цех — цепной, железный, с деревянными настилами, по которым ползли детали. Рабочие — мужчины и женщины, серые от копоти, молчаливые, с глазами, которые давно перестали смотреть и только видели — стояли по обе стороны и работали: кто клал латунные пластины на форму, кто вставлял шестерёнки, кто соединял сочленения медными заклёпками. Процесс

был ритуалом — зловеще похожим на ритуал, но бездушным: рабочие собирали автоматы, как мясники разделяют тушу, только в обратном порядке — не разбирали, а собирали. Из деталей — целое. Из латуни и стали — слугу. Из мёртвого — нечто, что двигалось, работало и не задавало вопросов.

Автоматы сходили с конвейера один за другим: латунные корпуса, медные маски вместо лиц, стальные сочленения, стеклянные глаза — мутные, без выражения, как у кукол. Они были разных типов: грузчики — низкие, широкие, с клешнями вместо рук; уборщики — узкие, с ведрами и щётками, встроенными в ладони; трактирные — высокие, с подносами, с учтивыми (по замыслу) жестами, которые на практике выглядели как конвульсии манекена. Каждый автомат после сборки проходил проверку: механик дёргал рычаг на спине, и автомат начинал двигаться — шагал вперёд, поворачивался, поднимал руки. Если движения были плавными — ставили клеймо и отправляли на склад. Если дёргаными, рваными — откладывали в сторону, в кучу брака, которая к середине смены вырастала до размеров телеги.

Гордеев шёл вдоль конвейера, и рабочие расступались — не резко, не панически, а привычно, как расступаются перед тем, кого боятся не страхом, а знанием. Знанием того, что боярин видит всё, помнит всё и считает всё: каждый бракованный автомат — это потеря, а потеря — это убыток, а убыток — это причина, по которой кто-то сегодня не получит ужин.

Один из уборщиков — уже собранный, проверенный, с клеймом — двигался по коридору цеха, methodically моя пол. Он шёл вдоль стены, ведро качалось у бедра, щётка в правой руке описывала ровные дуги — влево, вправо, влево, вправо, — и пол за ним блестел, мокрый, чистый. Но вдруг автомат замер. Щётка остановилась. Автомат стоял неподвижно секунду, две, три — а потом щётка двинулась снова. Но не вперёд, не к следующему квадрату пола — а по тому же месту. Тому же. Он проводил щёткой по одному и тому же участку — туда-сюда, туда-сюда, — и не мог остановиться. Не завис — именно не мог остановиться: шестерёнки внутри крутились, механизм работал, но движение застыло в петле, как заевшая пластинка на граммофоне.

Рабочий, проходивший мимо — кряжистый, с чёрными от мазута руками, — даже не замедлил шаг. Он привычно стукнул кулаком по медной голове автомата — глухой, короткий звук, как по пустому котелку, — и автомат дёрнулся, щёлкнул и пошёл дальше, к следующему квадрату.

— Бывает, — бросил рабочий через плечо, и ушёл.

Гордеев проводил его взглядом. Потом повернулся к Степану.

— Сколько брака за неделю?

Степан достал из-за пазухи блокнот — потрёпанный, замасленный, с торчащими страницами — и полистал.

— Двенадцать, — сказал он. — Шестеро зависли. Четверо сломались.

Пауза. Степан замялся. Его лицо — жёсткое, обветренное, с белым шрамом через бровь — сделалось на мгновение мягче, как будто он хотел что-то сказать, но передумал.

— Двое, — закончил он, и голос его стал глуше. — Двое разбились.

«Разбились» — эвфемизм, принятый на мануфактуре. Не «сломались» — сломаться может машина. «Разбились» — это когда автомат начинал крушить: бил руки, ломал стеллажи, швырял ящики, и его приходилось останавливать силой — ломом по корпусу, кувалдой по голове. Двое за неделю — это много. Степан знал. Гордеев знал. Но Гордеев кивнул, как кивают на сводку погоды: ясно, понятно, продолжим.

— Идём, — сказал он.

Сцена 2. Брак

Склад был огромен — больше, чем конвейерный цех, вырубленный в скале под замком, с каменными стенами, которые не оштукатурили, и полом, по которому когда-то ходил Кощей, а теперь ходили грузчики, рабочие и те, кому не повезло оказаться здесь, когда один из грузчиков решил, что ему всё равно, на чём стоять и что раздавить.

Степан вёл Гордеева через штабели ящиков, которые уходили в темноту под потолок. Пахло ржавчиной, мазутом и сыростью — той сыростью, которая бывает только под землёй, в камнях, которые не видели солнца столетиями. Фонарь в руке Степана бросал дрожащий круг света, и в этом круге мелькали тени — то от ящиков, то от стоек, то от чего-то ещё, что Степан предпочёл бы не замечать.

Они остановились у стены. На полу — тёмное пятно. Круглое, неровное, с размытыми краями, будто кто-то пролил ведро с тёмной краской, и краска впиталась в камень так глубоко, что её не отмыли, хотя пытались — Степан велел тереть щёлоком, потом песком, потом кислотой. Пятно осталось. Потемнело ещё, как будто камень впитал не грязь, а память.

— Здесь, — сказал Степан. Голос его был ровным, но он не смотрел на пятно. Смотрел в сторону.

Гордеев смотрел.

— Расскажи, — сказал он.

Степан рассказал. Коротко, сухо, как счётную ведомость.

Сын одной из работниц. Работница — Марфа, из дневной смены, вдова, с двумя детьми, младшему — шесть. Некуда было деть, принесла на смену — как приносила и раньше, и другие приносили, и никто не говорил, потому что все знали: говорить — значит привлекать внимание, а привлекать внимание — значит потерять работу. Мальчик сидел на полу у стены, играл деревяшкой — обрезок от доски, которого столяр дал ему, чтобы не путался под ногами. Грузчик-автомат работал: поднимал ящик со стеллажа, нёс к выходу, ставил на телегу, возвращался. Четыреста фунтов латуни и стали, на медных ногах, с клешнями, которые сжимали ящик с силой, достаточной, чтобы раздавить череп. Автомат шёл по маршруту — от стеллажа к телеге, от телеги к стеллажу, — и мальчик сидел на его пути. Не на маршруте — чуть в стороне, у стены, там, где по расчёту не должен был находиться. Но автомат шёл прямо. Не свернул,

не замедлил, не остановился. Поднял ногу, опустил — и пошёл вперёд, прямо на мальчика. Деревяшка выпала из рук. Крик — короткий, тонкий, детский — и звук. Звук, который Степан потом описывал как «хруст, но не ветки — чего-то мягкого, что хрустеть не должно».

Грузчик прошёл сквозь. Не переступил — прошёл. Четыреста фунтов по ребёнку, который не успел отползти, не успел закричать достаточно громко, не успел ничего. Автомат дошёл до телеги, поставил ящик, развернулся и пошёл обратно. Рабочие, которые слышали крик, подбежали — но было поздно.

Гордеев замаял дело через Степана: тридцать рублей Марфе, уговор молчать. Марфа взяла. Она была в долгах — за жильё, за еду, за лекарства для старшего, который болел с зимы. Тридцать рублей были больше, чем она видела за раз в жизни. Она взяла и молчала. Но другие знали. Шёпот шёл по мануфактуре — тихий, осторожный, как мыши в стенах: шуршал в углах, шуршал за станками, шуршал в складе, где тёмное пятно не отмывалось.

Гордеев выслушал и пошёл к грузчику. Автомат стоял в углу склада — отключённый, неподвижный, с медным корпусом, который тускло поблёскивал в свете фонаря. Гордеев подошёл, стукнул по корпусу костяшками пальцев — звук был глухой, пустой, как по гробу. Внутри — ничего. Ни жизни, ни смерти. Механизм.

— Механики проверили? — спросил он.

— Проверили, — ответил Степан. — Шестерёнки целы. Пружины целы. Программа — целая. Ни одной поломки.

— Тогда почему?

Степан помолчал.

— Не знаю, боярин. Просто... пошёл не туда.

— Не бывает «не туда», — отрезал Гордеев. — Бывает неисправность, которую не нашли. Найдите. Разберите каждую шестерёнку. Проверьте каждое сочленение. Я хочу знать, почему моя машина пошла не туда.

Он развернулся и пошёл к выходу. Степан — за ним.

Но когда Гордеев отворачивался, на мгновение — на долю мгновения, короче, чем щелчок, короче, чем вдох — стеклянные глаза грузчика мерцают. Едва. Не угольками внутреннего огня, как у шофёра в повозке, — иначе. Золотом. Тусклым, тихим, как отсвет пера, как свет, который не должен быть, но есть. Гордеев не видит. Степан не видит. Никто не видит.

Склад остаётся за ними — тёмный, огромный, пахнущий ржавчиной и сыростью, — и тёмное пятно на полу, которое не отмылось, и грузчик в углу, глаза которого мерцают золотом в темноте, когда никто не смотрит.

Сцена 3. Кабинет. Карты и чертежи

Кабинет Гордеева в башне был тем же, что и вчера, и позавчера, и все дни после того, как он купил замок: толстые каменные стены, одно окно на восток — на болото, на лес, на Тридевятое царство, — стол из чёрного дуба, стопки бумаг, чертежи машин, и под стеклянным колпаком — три пера Жар-птицы, которые мерцали ровно, тихо, как светлячки в тёплую ночь. Гордеев не смотрел на них. Он смотрел на чертёж.

Алексей Петрович вошёл без стука — ему одному разрешалось — и остановился у двери. Он был бледнее обычного, и руки его, которые обычно держали бумаги ровно, чуть дрожали.

— Боярин.

— Говори.

— Экспедиция отправлена. Те двое охотников — Сила и Григорий — вышли на рассвете. Снаряжены, вооружены. Карту дали — ту, из хранилища. Деньги — по рублю на брата, на дорогу.

— По рублю, — повторил Гордеев. — И пообещай им десять, если вернутся с перьями. Результаты ждать неделю?

— Не меньше. Дорога туда — три дня, обратно — три. Один день на поиски.

— Значит, неделя. Хорошо. Что ещё?

Алексей Петрович помялся. Потом сказал:

— В подвалах найдены новые ящики. Старинные. Кощеевы.

Гордеев поднял глаза.

— Какие ящики?

— Деревянные, окованные медью. Три фолианта — книги, в кожаных переплётках, с медными застёжками. И свитки — несколько, в ваксе. Всё в хорошем состоянии. Ящики были спрятаны за полкой в одном из коридоров — мы бы не нашли, если бы не убирали.

Гордеев встал.

— Принесите.

Книги принесли через полчаса. Три фолианта — толстые, тяжёлые, в тёмной коже, потрескавшейся от времени, с медными застёжками, почерневшими, но целыми. Гордеев положил их на стол, рядом с чертежами, и открыл первый.

Бумага — желтоватая, плотная, не такая, как фабричная: ручная выделка, грубая, с вкраплениями, как будто в неё замешали толчёный камень. Чернила — тёмные, почти чёрные, местами выцвели до коричневого, местами — до бледно-серого, как пепел. Текст — partly на старорусском, отчасти на языке, которого Алексей Петрович не знал: не греческий, не латин-

ский, не немецкий — что-то другое, с буквами, похожими на руны, но не руны. Но были и чертежи — и чертежи были понятны.

Гордеев перебирал страницы, и его взгляд — быстрый, цепкий, инженерный — скользил по схемам, выхватывая знакомое: шестерёнки, рычаги, пружины, трубки. Но рядом с знакомым — незнакомое. Детали, которые не имели аналогов в его инженерии: не паровые, не электрические, не механические в привычном смысле. Нечто среднее между механизмом и — Гордеев не хотел произносить это слово, но оно само стояло за строкой — чем-то другим. На одном чертеже — рука автомата, похожая на те, что собирали на конвейере, но тоньше, сложнее, с медными стержнями, вплетёнными в сочленения, и с надписями на ободке, которые Алексей Петрович с трудом разбирал.

— Это не чистая механика, — сказал Алексей Петрович, и голос его был осторожным, как шаг по тонкому льду. — Вот эти стержни — они не структурные. Они не держат, не соединяют. Они... — он помолчал. — Я не знаю, что они делают. Но они не для нагрузки.

Гордеев не ответил. Он перелистнул страницу — и замер.

На развороте — план замка. Подробный, точный, с разрезом подземелий: коридоры, камеры, лестницы. И на одном из коридоров — помещение, отмеченное красным крестом. Рядом — приписка на полях, мелко, теми же тёмными чернилами. Алексей Петрович наклонился, прищурился, перевёл с трудом, слово за словом:

— «Не входить. Заперто. Ключ утерян при падении».

Гордеев посмотрел на красный крест. Потом — на окно, через которое была видна башня, под которой лежали подвалы. Потом — снова на чертёж.

— При падении, — повторил он. — При падении Кощея.

— Да, боярин.

Гордеев перебирал дальше, и его внимание остановилось на другом чертеже. Схема — котёл, трубы, вентили. Похожая на его прототип. Но вместо угля — контур, напоминающий перо: вытянутый, заострённый, с лучами, расходящимися от центра, как от солнца. Кощей, оказывается, тоже пытался использовать перья как топливо. И Кощей, судя по пометкам на полях — торопливым, неровным, написанным рукой, которая дрожала, — столкнулся с тем же: «Перегрев. Пламя не подчиняется. Реакция неконтролируема». Гордеев узнал эти слова. Он сам писал такие — вчера, на полях своего чертежа, после того как клапан взорвался и механик упал с горящим лицом.

Но на следующей странице — другой чертёж. Устройство, которого у Гордеева не было. Клетка — медные стержни, расположенные по кругу, окружающие котёл, соединённые у основания ободом с выгравированной надписью. Не чистая механика — гибрид: металл и текст, сталь и слово, инженерия и что-то, чему Гордеев не знал названия и не хотел знать.

Он разглядывал этот чертёж долго. Молча. Лицо его было неподвижным, но Алексей Петрович, который знал Гордеева седьмой год, видел: что-то сдвинулось. Не на лице — внутри. Где-то за стенами, которые Гордеев выстроил, — за стенами из расчёта, цифр и безразличия,

— что-то шевельнулось. Не страх — Гордеев не боялся. Сомнение. Тонкое, как трещина в камне, которую не видно, но которая есть, и которая ждёт, когда камень треснет.

— Сказки для детей, — сказал Гордеев, но голос его был тише, чем обычно. — Медная клетка — это экранирование. Физика, а не магия.

Но чертёж он не выбросил. Отложил — в сторону, отдельно от других, поверх стопки, чтобы видеть.

Алексей Петрович посмотрел на него, открыл рот, хотел что-то сказать — и не сказал. Повернулся и вышел. Гордеев остался один. Сидел, смотрел на чертёж, и лампа на столе горела ровно, и перья под стеклянным колпаком мерцали ровно, и всё было ровно, и только где-то глубоко — под камнем, под землёй, за запертой дверью — гудело.

Сцена 4. Подвалы

Гордеев спустился в подвалы вечером, когда мануфактура затихала — дневная смена ушла, ночная ещё не началась, и в коридорах замка было пусто, как в склепе. Он шёл не один: впереди — Степан с фонарём, позади — двое охранников, и замыкал — Алексей Петрович, неохотно, с лицом человека, который идёт куда-то, куда не хочет, но не может не идти.

Лестница вниз была каменной — узкой, стёртой посередине, с бороздами, вырезанными тысячами ног за столетия. Стены — голый камень, влажный, с потёками ржавчины, которые выглядели как засохшая кровь. Чем глубже — тем темнее, тем холоднее, тем гуще запах: сырой камень, старая земля, и что-то ещё — металлический, горячий, чего в подземелье быть не должно, как будто где-то внизу работал котёл, который никто не растапливал.

Коридор разветвлялся. Степан шёл уверенно — он был здесь уже, осматривал, когда Гордеев купил замок, — но даже он замедлялся на поворотах, поднимая фонарь выше, как будто ждал, что из темноты выйдет что-то, чего он не хотел видеть. Ничего не выходило. Только тени — от стен, от потолка, от их собственных фигур, — и резьба.

Резьба проступала на стенах, как кости под кожей. Змеи — витые, переплетённые, с чешуёй, вырезанной так тонко, что хотелось провести пальцем. Птицы — с распростёртыми крыльями, с человеческими лицами, искажёнными, не злыми и не добрыми — чужими. Лица — без имён, без выражения, с глазами, которые смотрели из камня так, как смотрят из тьмы: не мигая, не отводя, с терпением, которому нет конца. На верхних этажах резьба была декоративной — красивой, пугающей, но декоративной. Здесь, внизу, она была грубее, глубже, как будто вырезана не для красоты, а для записи. Не для глаз — для памяти камня.

Они прошли мимо кощевой лаборатории. Стеллажи с колбами — стеклянными, кривыми, ручной работы, с мутным стеклом, за которым темнели жидкости разного цвета: чёрная, как дёготь; зелёная, как болотная вода; красная, густая, как кровь. Алексей Петрович заглянул в одну из колб — чёрную — и отпрянул: внутри, в тёмной жидкости, едва заметно мерцало. Не свет — мерцание, как пульс, как дыхание, как что-то живое в том, что живым быть не должно. Он быстро поставил колбу обратно и не смотрел больше.

Идли гуськом. Гордеев впереди — прямо, тяжело, как человек, который идёт по своему дому, хотя дом этот не был его и никогда не был, и камень под ногами знал это. Степан за ним — рука на рукояти ножа, инстинктивно, как собака, которая ошетиливается в темноте, не потому что видит, а потому что чувствует. Охранники — молча, с ружьями наперевес, хотя в подzemелье некого было стрелять. Алексей Петрович — последним, оглядываясь на каждом повороте.

Коридор сузился. Потолок опустился. Стены сошлись так, что двоим было не разойтись. И тогда — в конце коридора, в темноте — дверь.

Железная. Массивная. Встроенная в каменную раму, вырубленную так точно, что между дверью и камнем не было щели — ни одной, ни на волос. Ржавчина на петлях — рыжая, хлопьями, как от слезающей кожи. Но замок — медный, полированный, блестящий тускло в свете фонаря, как будто его недавно смазывали. Кем — непонятно. Гордеев не был здесь с момента покупки. Степан был — но не трогал замок. Кто смазывал медь на двери, запертой столетия назад?

И за дверью — гудение.

Низкое. Ровное. Вибрирующее. Не громкое — тихое, но не тихое в человеческом смысле, а тихое, как тих океан на глубине: звук, который не в ушах, а в костях, в камне, в воздухе, который denser, чем должен быть. Как у котла под давлением, но глубже, тише, ровнее. Как будто за дверью что-то работает — работает давно, может, столетиями, — и не собирается останавливаться. И не устаёт. И не замолкает.

Гордеев подошёл к двери. Приложил руку — ладонь к металлу. И отёрнул.

Тепло. Не от подземного тепла — от того, что за дверью. Металл был тёплым, как тело, и тепло пульсировало — едва заметно, как пульс, как дыхание, как перо в ладонях семилетнего мальчика, который стоял в тёмной комнате и держал то, что дышало. Гордеев не знал про мальчика. Но металл знал, и тепло знало, и дверь знала.

Степан стоял позади. Лицо его было белым — не от страха, а от понимания, от знания, которое приходит не через глаза, а через кости, через камень, через гудение, которое проникало в тело и вибрировало в рёбрах.

— Боярин, — сказал он, и голос его был хриплым, тихим, как шёпот в храме. — Может, не надо?

— Ключа нет, — ответил Гордеев. — И не надо.

Он отступил. Но смотрел на дверь ещё секунду — и в его глазах, впервые за всё время, что Степан знал его, мелькнуло то, чего там никогда не было. Не страх — Гордеев не боялся, как не боялся камни, деньги и сталь. Уважение. К чему-то, что сильнее его. К чему-то, что было здесь до него и будет после, что не купишь, не сломаешь, не заставишь замолчать.

Они ушли. Подвал остался за ними — тёмный, гудящий, живой.

Сцена 5. Ночной цех

Ночная смена началась в девять, когда дневные рабочие ушли и цех опустел до дюжины человек: несколько кузнецов у горнов, надсмотрщик — сонный, с красными глазами, — дремавший на скамье у стены, и автоматы. Автоматы не нуждались в смене, в свете, в отдыхе. Они работали.

Митрий — кузнец, пожилой, молчаливый, с руками, которые были такими обожжёнными и чёрными, что казались частью железа, к которому он прикасался, — работал у горна. Он был из тех, кто работает не от любви, а от безысходности: двадцать лет на мануфактуре, сначала у другого хозяина, потом у Гордеева, и за эти двадцать лет он научился одному — не замечать. Не замечать копоти, не замечать боли, не замечать того, что автоматы, которые собирали на конвейере, ходят по цеху и работают рядом с людьми, у которых дети, имена и страх.

Но Митрий замечал. Он просто молчал.

Он видел, как грузчик раздавил мальчика. Не издалека — в трёх шагах, у соседнего стеллажа. Он слышал хруст. Он видел деревяшку, которая выпала из руки. Он видел Марфу — после, когда ей сказали, и она пришла на склад, и упала на колени у пятна, и не кричала — молчала, и молчание её было страшнее крика. Митрий дал ей рубль — свой, отложенный — и она взяла, и молчала, и ушла.

Теперь, в ночную смену, Митрий наблюдал за грузчиком. Тот же тип — низкий, широкий, с клешнями, с медной маской вместо головы. Таскал ящики: от стеллажа к телеге, от телеги к стеллажу. Ровно, методично, без остановок. Но Митрий замечал: иногда — не часто, раз в час, может, реже — автомат останавливался. Не зависал — Степан объяснял разницу: зависший дёргается, щёлкает, повторяет движение. Этот — останавливался. Полностью. Замолкал. Стоял неподвижно, секунду, две, — и поворачивал медную голову. Не к работе — к стене. Или к полу. Или к чему-то, что Митрий не видел, что не было ни на стене, ни на полу, ни в цехе. Автомат смотрел — на что-то, что видел только он, — и потом шёл дальше.

Митрий не говорил об этом. Кто ж будет жаловаться на машину, когда жаловаться — значит привлечь внимание Гордеева? Но он замечал. И запоминал. И каждый раз, когда автомат поворачивал голову, Митрий чувствовал, как кожа на спине собирается в мурашки — мелкие, холодные, как от сквозняка, которого не было.

В полночь — Митрий засёк по часам на стене, круглым, с треснувшим стеклом, которые шли на две минуты медленнее, — один из автоматов, тех, что прислуживали в трактире за стеной, начал стучать. Не греметь, не лязгать — стучать. Ритмично, ровно, короткими ударами, как будто молоточек бил по металлу. Митрий прислушался. Стук был не случайный — в нём был ритм, и ритм был знакомый. Точь-в-точь как щелчки телеграфного аппарата — того, что Митрий видел один раз в жизни, в присутственном месте, когда ходил за жалованьем. Туки-туки-туки. Туки-туки. Туки-туки-туки-туки. Будто автомат передавал что-то. Кому — непонятно. Зачем — непонятно. Но стук был осмысленным, и от этого было хуже, чем от любого случайного лязга.

Потом стук оборвался. Автомат-трактирщик — Митрий слышал через стену — двинулся дальше, зазвенел подносом, и всё стало как обычно.

В этот момент в цех вошёл шофёр.

Митрий узнал его сразу — по медной маске, по росту, по движениям. Шофёр-механический слуга Гордеева, тот самый, из повозки, с мутными стеклянными глазами, за которыми мерцали угольки. Он вошёл через дверь у дальней стены — тихо, без стука, как тень, — и пошёл через цех. Рабочие не смотрели на него — привыкли. Надсмотрщик не проснулся. Митрий смотрел.

Шофёр прошёл через цех, не остановившись, не повернув головы — и направился к двери, которая вела в подвалы. Открыл её — медленно, без скрипа, — и спустился. Дверь закрылась за ним, и в цехе стало как было: молот, горн, тишина.

Но через минуту — может, через две, Митрий не считал — гудение изменилось. Оно было и раньше — Митрий давно привык к нему, как привыкают к шуму крови в ушах, — но теперь оно стало другим. Громче. Выше. Как будто что-то за запертой дверью, глубоко в подземелье, отозвалось на присутствие машины. Как будто узнало. Как будто обрадовалось.

Митрий не выдержал. Положил молот, снял фартук и вышел из цеха — раньше смены, тихо, так, чтобы надсмотрщик не заметил. Тот спал, открыв рот, и храп его был ровным, как гудение из подвалов.

Во дворе было холодно — ночь, осень, ветер с болота, от которого пахло гнилью и торфом. Митрий запахнул кафтан и поднял голову — и увидел.

Над одной из труб замка — не дымоходом, а башней, той, что была кощевой, той, в которой был кабинет Гордеева, — поднимался свет. Не дым. Не пар. Свет — золотой, слабый, как свеча за матовым стеклом, как отсвет чего-то, что горит не снаружи, а внутри. Свет стоял над башней три секунды — ровно, неподвижно, не мигая, — и погас.

Митрий стоял во дворе, смотрел на башню и чувствовал, как мурашки на спине становятся больше, холоднее, и как ветер с болота — тот самый, от которого пахло гнилью и торфом — пахнет теперь чем-то другим. Сладковатым. Горячим. Как перо.

Он ушёл. Быстро, не оглядываясь, и больше не вернулся на ночную смену. Никто не спросил почему.

Сцена 6. Что-то гудит

Гордеев не спал.

Он лежал в своей комнате — в башне, в той, что была кощевой, где каменные стены были толще, чем где-либо в замке, и потолок был сводчатым, и окно выходило на восток, на болото, на лес, на Тридевятое царство, которое лежало где-то за этим лесом, — и слышал гудение.

Не из подвалов. Не из-за запертой двери. Из стен. Из камня. Из-под штукатурки, из-под облицовки, из-под тех слоёв, которыми три года покрывали замок, чтобы он стал фабрикой,

конторой, мануфактурой — чем угодно, только не тем, чем он был. Гудение шло отовсюду, ровное, неотвратимое, как пульс, как дыхание, как тёплое, живое, пульсирующее тепло, которое он сегодня почувствовал в железной двери. Замок дышал. Замок, который три года был мёртвым — камень, железо, трубы, дымоходы, — дышал, и Гордеев слышал, и не мог не слышать, потому что гудение было в костях, в матрасе, в подушке, в воздухе, который *denser*, чем должен быть.

Он встал. Подошёл к окну — тому, что на восток. Прижал ладонь к стеклу. Стекло было холодным — ночь, осень, болотный воздух, — но Гордеев чувствовал не холод. Он чувствовал то, что за стеклом. Не видел — чувствовал. Там, за окном, за болотом, за лесом, в темноте, в которой не было ни звёзд, ни луны, — что-то. Что-то смотрело. Не глаза — присутствие. Как холод на спине, как дыхание в затылок, которое он чувствовал вчера, в повозке, в тумане. Только теперь это было не за спиной — впереди. Там, за окном. За лесом. В Тридевятом царстве.

Она видит тебя.

Гордеев отвернулся от окна. Сел за стол. Зажёг лампу — спичка дрогнула в пальцах, и он заметил это, и ему не понравилось, что он заметил. Лампа загорелась ровно, желтовато, и в её свете — слабо, дрожащем — Гордеев взял чертёж Кощея. Медную клетку.

Разглядывал. Долго. Системно — как инженер, как человек, который ищет в схеме не смысл, а структуру: где нагрузка, где соединение, где слабое место. Медные стержни — двенадцать, по кругу, соединённые ободом. Обод — широкий, с гравировкой. Надпись — та самая, которую Алексей Петрович переводил с трудом, слово за словом, и которая была, по его словам, заклинанием — «заклинание» в устах Алексея Петровича звучало как «не знаю что это, поэтому заклинание».

Но Гордеев смотрел на обод, и в свете лампы — под углом, в тени, которую днём не заметишь — он увидел то, что не заметил днём. На ободе, среди гравировки, среди букв и знаков, которых он не понимал, — слово. Одно. Выгравированное не чернилами — на меди, глубоко, ровно, буква за буквой, — и слово это было не на старорусском, не на неизвестном языке, не на латыни, не на греческом. Оно было на том языке, на котором говорят все. На русском. Обычном, простом, нынешнем.

«Помнит».

Он помнит. Или — она помнит.

Гордеев положил чертёж. Медленно, аккуратно, как кладут то, что не хочешь сломать, но не хочешь держать. Руки его — длинные, с тонкими пальцами, с мозолями от рычагов и пера — легли на стол, и на тыльной стороне левой руки, под перчаткой, которую он не снял, темнело пятно сажи. Круглое, маленькое, тёмное. Оно было вчера — он не обращал внимания. Но теперь, в свете лампы, он увидел: пятно стало больше. Не намного — на полмиллиметра, может, на миллиметр, — но больше. И цвет его изменился: не чёрный, как сажа, — тёмно-коричневый, с красноватым отливом, как ржавчина, но не ржавчина. Как ожог. Как метка. Как что-то, что въелось не в замшу, а в кожу, и росло.

Гордеев снял перчатку. Посмотрел на руку. Пятно было — тёмное, круглое, на тыльной стороне, между большим и указательным. Он провёл по нему пальцем другой руки. Не стёрлось. Не смахнулось. Вросло.

В тишине — только гудение. Ровное, неотвратимое, как пульс, как дыхание замка, который три года был мёртв и теперь просыпался. Гордеев сидел, смотрел на свою руку, на пятно, которое не смывалось, и впервые в жизни — впервые, в сорок лет, после десятков людей, которых он купил, сломал, выбросил, после машин, которые он построил и разрушил, после замка, который он взял и переделал, — впервые боярин Гордеев не знал, что делать.

И тогда — из подвалов, далёких, глухих, за каменными стенами, за запертой дверью, за столетиями молчания — щелчок.

Один.

Седьмой.

Гордеев слышал. Он знал, что слышал. Тело его — прямое, тяжёлое, непреклонное — замерло, как замерает автомат на конвейере, когда что-то внутри щёлкает не так, и движение замирает в петле, и нет выхода, нет продолжения, нет — ничего. Только щелчок. И после — тишина.

Тишина, которая была хуже щелчка. Хуже гудения. Хоже всего, что Гордеев слышал в жизни, — тишина, которая означала, что что-то закончилось. Или — началось.

Боярин Гордеев, человек, для которого жалость — убыток, а страх — роскошь, не мог заснуть до утра. Он сидел за столом, в свете лампы, с чертежом Кошеля перед собой, и смотрел на слово, выгравированное на медном ободе: «помнит». И гудение не прекращалось. И пятно на руке не светилось, не горело, не болело — просто было. Было, и росло, и не смывалось, и было не сажей, не грязью, не углём — чем-то другим. Чем-то, что пришло оттуда, из Тридевятого царства, из огня, из пера, из руки умирающего, который схватил его за запястье и прохрипел: «Она видит тебя».

Она видит.

Она помнит.

А за окном, за болотом, за лесом, в Тридевятом царстве, в темноте, в которой не было звёзд, — свет. Золотой, слабый, ровный. Не угасающий. Не потухающий. Свет, который ждал.

Глава 4. «Дом на Огородной улице»

Сцена 1. Шестерёнки в супе

Утро на Огородной улице пахло угольной гарью и щами.

Гарь неслась из промзоны — из-за заставы, где заводы дышали круглосуточно, не останавливаясь ни на час, ни на смену, ни на праздник, — и ложилась на крыши рабочей окраины тонкой маслянистой плёнкой, которая к утру собиралась в капли и стекала по стенам, как грязь.

ный пот. Щами пахло из дома Долгопольцевых — из единственного дома на улице, над трубой которого вился не только дым, но и пар, и запах стряпни, и слабый металлический привкус, который соседки приписывали то ли печке, то ли хозяйину, то ли тому и другому вместе.

Дом стоял на отшибе — не потому что был лучше других, а потому что вокруг него громоздились верстаки, штабели железного лома, трубы, шестерёнки, пружины и обрезки листовой меди, которые Ефим Долгопольцев копил всю жизнь и не выбрасывал никогда, потому что «годится». Годилось всё. Обрезок меди — годился на шайбу. Обломок трубы — на втулку. Согнутый гвоздь — на стержень для рычага. Двор был кладбищем механизмов, которые ещё не родились: здесь лежали их будущие кости, ещё не собранные, ещё не соединённые, ещё не дышавшие, но уже ждущие.

Забор покосился — не от старости, а от того, что Ефим однажды прислонил к нему наковальню, а потом забыл убрать, и забор за зиму просел под весом, и так и остался, потому что Ефиму было не до забора, а Пелагее было не до того, чтобы remind мужу про забор, когда муж не помнил даже, какой сегодня день. Соседские дома — такие же бревенчатые, одноэтажные, с выгонами для кур и поленницами у стен — стояли ровно, и дворы у них были чистые, и заборы — прямые. На Огородной улице было модно иметь прямой забор. Ефим не знал об этом моде.

В доме было тепло. Печь — большая, кирпичная, сложенная ещё дедом Ефима, — занимала полстены и грела так, что зимой можно было спать в одной рубашке. Но печь была не просто печью. Ефим переделал её лет десять назад: с одной стороны — конфорки, на которых Пелагея стряпала, варила щи и грела чайник; с другой — горн, небольшое углубление в кирпичной кладке, куда можно было заложить уголь и калить металл. Пелагея сначала ругалась — уголь из горна пах иначе, дым шёл в дом, сажа садилась на стены, — но потом привыкла. Не потому что смирилась, а потому что Ефим работал по ночам, и она просыпалась от звука молотка, и в полутьме видела его силуэт — склонённый над горном, с раскалённым металлом в щипцах, — и ругаться не хотелось. Хотелось подать ему чаю и сесть рядом, и молчать.

Над печкой — полка. На полке — свёрнутые в трубку чертежи, перевязанные бечёвкой, вперемешку с пучками сушёных трав: мята, зверобой, чабрец. Травы — Пелагеины. Чертежи — Ефимовы. Они лежали рядом, как супруги, которые давно не разговаривают, но не расходятся, потому что привыкли, и потому что без друг друга — не те, не полные, не правильные.

Обеденный стол стоял посреди горницы. Он был и обеденным, и чертёжным, и верстаком одновременно. Клеёнка — в масляных пятнах, с разводами от чайных кружек и рубцами от резца, которые Ефим наносил, когда работал, не подумав, что режет не по доске, а по клеёнке. Поверх клеёнки — ватманский лист, разложенный утром и забытый, с расчётами, которые Ефим вёл до завтрака и не закончил, потому что Пелагея позвала есть. Рядом с ватманом — кружка с остывшим чаем, в которой плавала стружка.

Завтрак подавали в тишине. Пелагея — в платке, повязанном низко, почти до бровей, с тёмным, спокойным лицом, на котором не было ни усталости, ни недовольства, а было то выражение, которое бывает у людей, давно переставших ждать перемен и начавших просто жить, — поставила на стол чугунок со щами и села. Ефим не поднял головы. Он смотрел в чертёж, водил пальцем по линии, шевелил губами — считал что-то, прикидывал, — и рука его машинально тянулась к ложке, которая лежала рядом, на клеёнке, и он брал её и ел, не видя, что ест, не чувствуя вкуса, не отрывая глаз от ватмана.

Иван — младший, двадцать лет, русоволосый, с лицом, на котором всё было написано открыто, как в детской книжке: радость — так радость, задумчивость — так задумчивость, — сидел напротив отца и ковырял ложкой в тарелке. Он вынул что-то маленькое, блестящее, положил на стол рядом с хлебом и продолжил есть. Латунная шестерёнка. Маленькая, с зубцами необычной формы — не заводская, ефимова. Застряла в чугушке — видимо, упала с полки, когда Пелагея ставила щи в печь, и сварилась вместе с капустой.

Иван не удивился. Он покрутил шестерёнку в пальцах, проверил — не погнулась ли, — и сунул в карман. Годится.

Пелагея посмотрела на шестерёнку, на Ивана, на Ефима, и ничего не сказала. Она давно перестала удивляться тому, что в её стряпне попадают детали. Один раз — зимой — в пироге нашлась пружина. Маленькая, стальная, от часового механизма. Ефим извинился — машинально, не отрываясь от работы, — и Пелагея вынула пружину, отложила и разрешила пирог дальше. Дети выросли с этим. Антип — старший — к десяти годам научился определять на вкус, из какого металла деталь: медь — горчит, латунь — сладит, сталь — безвкусная. Иван — просто вынимал и ел дальше.

Ефим кашлянул. Сухо, коротко, одним толчком из груди — будто что-то застряло внутри и он пытался вытолкнуть, но не может. Кашель был не новый. Он был старый, старше Ивана, старше Антипа, старше дома — или, по крайней мере, старше того Ефима, который в этом доме жил. Пелагея встала, налила чай с мёдом в кружку и поставила рядом с ватманом, не говоря ни слова. Ефим взял, кивнул — не глядя, но кивнул, — и сделал глоток, и кашель стих.

Так проходило утро в доме на Огородной улице. Тихо, тепло, с шестерёнками в супе и чертежами на столе. С кашлем, с мёдом, с молчанием, которое было не пустым, а полным — полным того, о чём не говорят, потому что говорить — значит называть, а называть — значит признавать.

Сцена 2. Мастерская

После завтрака Ефим ушёл в мастерскую.

Мастерская была пристроена к дому — сзади, со двора, — и была больше дома в полтора раза. Низкий потолок — Ефим при росте в сажень едва не задевал его головой, — земляной пол, утопанный до каменной твёрдости, два окна, затянутых бычьим пузырём: стекло стоило дорого, а пузырь пропускал свет — мутноватый, желтоватый, но достаточный, чтобы работать.

Инструменты висели по стенам. Не в беспорядке — в строгом, почти ритуальном порядке, который знал только Ефим. Слева от двери — молотки: от кувалды до маленького, ювелирного, весом в золотник. Справа — клещи, щипцы, пинцеты, кусачки. Над верстаком — резцы, напильники, шлифовальные камни. В углу — наковальня, купленная у цыган за тридцать лет назад, с выбоиной на роге, которая появилась в первый же день и с тех пор была как родинка: примета, отличие, знак. Рядом — станок для резьбы по металлу, собранный из деталей, которые Ефим выменял, нашёл, выпросил, а одну — главную, червячную передачу — выточил сам, за три недели, по чертежу, который нарисовал на обёртке от мыла, потому что

бумаги не было. Верстак у окна — завален чертежами, обрезками латуни, медной проволокой, стружкой, которая ложилась на ватман, как золотые волосы на подушку.

Пахло маслом, металлом, стружкой. И ещё — чем-то неуловимым, что Пелагея называла «ефимовым духом», а соседи — «запахом от которого чихается». Это был запах работы: не пота, не грязи, а того тонкого металлического аромата, который исходит от рук, которые весь день держали железо, — руки впитывают его, как губка, и потом не отмываются, и Пелагея, когда мыла Ефиму спину, говорила: «Ты не из железа ли сделан, Ефим Долгопольцев?» — и Ефим усмехался, и не отвечал.

Ефим сел за верстак. Достал из ящика заготовку — латунный диск, вырезанный вчера, — и взял резец. Диск был маленький, с пятак, но Ефим держал его так, словно это была вселенная. Он не чертил. Он не смотрел на чертёж — чертёж был в голове, за глазами, в том месте, где у обычных людей бывают воспоминания, а у Ефима были механизмы. Он видел шестерёнку — не на бумаге, не в металле, а целиком, сразу, со всеми зубцами, со всеми углами, со всеми зазорами, — и резец шёл по латуни, как перо по бумаге, уверенно и точно, без предварительной разметки, без линейки, без циркуля.

Это было то, что нельзя было ни научить, ни передать, ни объяснить. Ефим не знал слова «интуиция» и не пользовался бы им, если бы знал. Он просто видел. Как музыкант слышит ноту до того, как она звучит, — Ефим видел механизм до того, как он был собран. Он чувствовал, как шестерёнка войдёт в зацепление, как передача распределит усилие, как пружина отдаст накопленное, — и это чувство было не знанием, а чем-то более глубоким, телесным, как слух или осязание. Не разум — руки. Руки знали.

Иван сидел на чурбаке у двери и мастерил. Он не мешал отцу — знал, что мешать нельзя, что когда Ефим работает, он не слышит, не видит, не отвечает, и это не невниманье, а сосредоточенность, которая похожа на забытьё. Иван тихо напевал — мотив без слов, что-то своё, незаконченное, как обрывок мелодии, который он где-то услышал и не мог вспомнить где, но не мог и забыть. Пелагея говорила, что Иван поёт с трёх лет, с того дня, когда научился ходить, — сначала мычал, потом тянул ноты, потом стал складывать их в простенькие мотивы, которые повторял по кругу, как волна повторяет накат.

В руках у Ивана были обрезки проволоки и жести — мусор, отходы, то, что Ефим выбрасывал, а Иван подбирал. Из этого мусора Иван делал птичку. Не копию — силуэт, намёк: тело — из свёрнутой проволоки, крылья — из вырезанных жестяных пластин, маленьких, лёгких, с шарнирами из медной проволоки, которые Иван сделал сам, придумав конструкцию на ходу. Крылья двигались — вверх, вниз, — и при этом не болтались, а ходили ровно, с тем мягким сопротивлением, которое бывает у хорошо подогнанного механизма. Не для продажи. Для себя.

Ефим отложил резец. Взял шестерёнку — готовую, с зубцами, которые блестели в желтом свете из окна, — и поднёс к лампе. Повертел, прищурился. Хорошо. Потом повернулся к Ивану — и увидел птичку. Взял её из рук сына, не спрашивая, покрутил, пощупал шарниры.

— Медная проволока на шарнир — не годится, — сказал он. — Медь мягкая, протрётся. Надо стальную.

— Стальной не было, — ответил Иван. — Медная была.

Ефим помолчал. Потом:

— Стальную я дам. Завтра.

И вернулся к шестерёнке. Но в его глазах — Иван не видел, но чувствовал — мелькнуло что-то. Не радость, не гордость за сына — узнавание. Он видел такие шарниры. Много лет назад. В другом месте. В месте, о котором он не говорил.

Через двор, через открытую дверь мастерской, был виден забор, а за забором — Огородная улица, а дальше — дым заводов, который стоял над промзоной, как серый полог. Контраст был резким: здесь, в мастерской, — тишина, точность, тепло рук, которые чувствуют металл; там, за забором, — грохот, копоть, пар и железо, которые работают без рук и без чувств. Два мира в двадцати саженях друг от друга.

Послышался стук в калитку. Иван встал, пошёл открывать. Вернулся с посыльным — мальчишкой лет двенадцати, в чистой рубашке, с трубкой свёрнутой бумаги в руках.

— От боярина Гордеева, — сказал мальчишка, глядя на Ефима. — Заказ. Сказали: зубчатое колесо нестандартного профиля, по чертежу.

Он протянул трубку. Ефим взял, развернул. И замер.

Иван видел лицо отца. Видел, как оно не изменилось — ни одна морщина, ни одна мышца, — но как-то застыло, как лицо человека, который дышит, но перестал дышать воздухом и начал дышать чем-то другим, тяжёлым, холодным.

Чертёж был его. Ефим узнал его сразу — как узнают свой почерк, свой голос, свои руки. Шестерёнка с зубцами нестандартного шага, с профилем, который он придумал три года назад, для механизма, который так и не собрал, потому что не было времени, не было материала, не было денег. Чертёж лежал в ящике верстака. Антип — старший, деловой, услужливый — взял его однажды, «показать боярину, у меня же там работаю, может, дело будет». Ефим не дал. Антип взял без спроса. Ефим не заметил. А теперь чертёж вернулся — от Гордеева, как заказ, как его собственное, украденное и проданное ему обратно.

— Когда нужно? — спросил Ефим. Голос был ровным.

— К пятнице, — ответил мальчишка.

— Будет.

Мальчишка ушёл. Ефим положил чертёж на верстак. Посмотрел на него. Долго. Потом взял резец, и заготовку, и начал работать. Руки не дрожали. Лицо не изменилось. Но Иван, который сидел на чурбаке и тихо крутил в пальцах жестяную птичку, видел, что отец не поёт. Обычно, когда Ефим работал, он гудел — тихо, почти беззвучно, как гудит двигатель на холостом ходу. Сейчас он молчал. И молчание было не тем, что утром, за столом, — полным, тёплым. Это было другое. Пустое. Как дом, из которого вынесли всё.

Сцена 3. Антип возвращается

Антип пришёл к вечеру.

Он вошёл в дом, как входил всегда, — быстро, деловито, снимая на ходу шапку и расстёгивая ворот, будто дом был продолжением конторы и нужно было сразу браться за дело. На нём была чистая рубаша — холщовая, но белая, — и портфель: кожаный, потёртый, но кожаный. Портфель был символом. Антип работал приказчиком у Гордеева — вел счета, накладные, поставки, — и хотя платили ему немного, портфель стоил того, чтобы его носить. Портфель говорил: я не работаю руками. Я работаю головой. Я — не отец, который пачкает руки мазутом за гроши. Я — другой.

Антип был похож на Ефима — тот же высокий лоб, тот же разлёт бровей, — но что-то в нём было заужено, сжато, как будто черты отца пропустили через пресс и выдавили лишнее: мягкость, мечтательность, ту рассеянность, которая позволяла Ефиму забыть про забор, про шестерёнку в супе, про день недели. Антип ничего не забывал. Антип помнил всё: кто кому должен, кто кому что сказал, кто кому что обещал. Память Антипа была не человеческой — бухгалтерской: точной, безжалостной, без эмоций.

— Здорово, — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. — Мам, есть что поесть?

Пелагея поставила на стол чугунок. Антип сел, развернул салфетку — чистую, выстиранную, которую носил с собой, потому что не любил клеёнку, — и начал есть. Быстро, аккуратно, не проливая ни капли.

— Боярин опять требует, — сказал он между ложками. — Новые чертежи. Шестерёнки, валы, передачи. Говорит, его механики не могут сделать то, что ему нужно. Профиль нестандартный. Я ему говорю: наймите Ефима, он вам всё сделает. А он: зачем нанимать, если чертежи уже есть?

Ефим ел. Лицо его не изменилось. Ложка шла в рот, возвращалась, шла снова. Ритмично, ровно, как механизм.

— Перья жжёт, — продолжил Антип, и в голосе его было не любопытство, а раздражение, как у человека, которому приходится считать чужие убытки. — Купил каких-то перьев — дорогих, заморских, я не знаю, — и жжёт их в котле. Машину испытывает. Котлы рвёт. Один механик обгорел — англичанин, из-за границы. Боярин ругается, говорит, вентиль слабый. Вентиль! Я ему говорю: боярин, может, не в вентиле дело, может, в перьях? А он: не твоего ума дело, Антип, считай накладные. Ну я и считаю. — Он усмехнулся, коротко, без веселья. — Двадцать пудов угля на одно испытание — это сколько денег? А одно перо — это сколько? Я не знаю, сколько он платит за перо, но, видать, немало, раз рискует котлы рвать.

Ефим перестал жевать. На секунду — на долю секунды. Потом продолжил. Но Иван это видел. Пелагея это видела. Антип не видел — он считал.

— А ты, Ванюха, — Антип повернулся к младшему, — опять птичек делаешь?

Иван сидел с жестяной птичкой в руках. Крылья двигались — вверх, вниз, — на медных шарнирах, тихо, ровно.

— Опять, — сказал Иван.

— А сколько стоит?

— Не знаю.

— Как — не знаю? Материал — деньги. Время — деньги. Если ты делаешь птичку три часа, а мог бы за три часа починить мельничку и взять за это полтинник — значит, птичка стоит полтинник. Ты понимаешь?

— Понимаю, — сказал Иван, и в голосе его не было ни обиды, ни сарказма. Просто — понимает. — Только мельничка — мельничка. А птичка — птичка.

Антип посмотрел на него. Открыл рот, закрыл. Махнул рукой. Между братьями была пропасть — не вражды, нет, а непонимания, которое глубже вражды, потому что врагов можно не любить, а непонятных — не любить нельзя, но и понять нельзя, и остаться рядом можно только одним способом: не пытаться.

Пелагея внесла чай. Села. Перекрестилась — быстро, коротко, двумя пальцами, как крестятся люди, которые знают, что за этим следят. Ефим не крестился. Антип не крестился. Иван не крестился. В царстве модно было не верить: прогресс, пар, электричество, наука — что угодно, только не Бог. Вера была признаком отсталости, как лучина, как лапти, как сказки про Жар-птицу. Но Пелагея верила. Тихо, упрямо, без объяснений, без оправданий, как верят женщины, которые видели слишком много, чтобы верить в науку, и слишком мало, чтобы не верить в Бога.

Ефим спросил — невзначай, как о погоде:

— Перья-то какие жжёт? Неужели вправду?

— Вправду, — ответил Антип. — Оранжевые, золотые. Красивые, надо сказать. Только воняют, когда горят. Сладковато так. Меня от этого запаха тошнит, а боярин — нюхает, как цветы.

Ефим побледнел. Кожа на его лице стала серой, как пепел, и это было заметно — Ефим был смуглый, от работы у горна, и побледнеть для него значило стать совсем другим человеком. Антип не заметил — он считал в голове, прикидывал, сколько боярин переплатил за испорченные детали. Иван заметил. Пелагея заметила. Оба молчали.

Сцена 4. Кашель. Тетрадь

Ночью дом затих.

Пелагея уснула — тихо, на боку, как засыпают женщины, которые встают до рассвета: сразу, без перехода, без ворочания, как гасят лампу. Ефим лежал рядом, но не спал. Он не спал ночами — не с тех пор, как женился, не с тех пор, как родился Антип, не с тех пор, как переехал в этот дом. Он не спал с другой ночи. С той, о которой не говорил.

Он встал. Тихо, крадучись, как человек, который делает что-то запрещённое. Пелагея не проснулась. Дом скрипнул — половица в коридоре, та, что всегда скрипела, которую Ефим обещал починить и не починил, потому что не до того, — и стих.

Ефим сел за стол в горнице. Зажёг огарок — маленький, жёлтый, дрожащий. Свет его едва доставал до стен. За окном — ночь, и гул. Гул шёл из-за заставы, из-за заводов, — далёкий, басовый, бесконечный, как второе небо, только звуковое. Заводы не спали. Заводы не спали никогда. И Ефим не спал. Может, поэтому он их понимал.

Он достал тетрадь. Не со стола, не с полки — из-под матраса, из-под клеёнки, из щели между досками, которую он вырезал ножом двадцать лет назад и с тех пор хранил в ней то, что не должен был хранить. Тетрадь была потрёпанная, в картонной обложке, перевязанная бечёвкой. Внутри — не чертежи. Не расчёты. Рисунки: контуры крыльев, положение перьев, расстояния между ними, углы излома. И рядом — слова, написанные торопливым, нервным почерком, с нажимом, который проткнул бумагу в нескольких местах: «крик», «голос», «камень треснул», «она смотрела».

Ефим перечитывал. Он знал каждую страницу — не потому, что забыл и освежал, а потому, что перечитывание было как шевеление раны: болит, но проверяешь, болит ли ещё. Болеть перестало. Но не зажило.

Он закрыл глаза. И увидел.

Двадцать лет назад. Ефиму — двадцать. Сильный, быстрый, с руками, которые чешутся работать, и головой, которая не даёт рукам покоя. Он слышал про Кощея — все слышали. Кощей Бессмертный, колдун, злодей, персонаж сказок. Но Ефим слышал другое: что Кощей — не колдун. Что Кощей — инженер. Что он строит машины, которые работают не от пара, не от угля, а от чего-то другого. Чего — никто не знал. Говорили: магия. Ефим не верил в магию. Ефим верил в механизмы. И пошёл.

Кощей принял. Не сразу — сначала гонял, заставил чинить замок, таскать камни, чистить котлы. Потом — показал. Лаборатория была под замком, в подземелье, в каменном мешке, который Кощей вырубил сам, или, может, не сам, а достал от предков, которые были до него и тоже чего-то строили. Стены — камень, два аршина толщиной. Потолок — сводчатый. Свет — не от ламп, не от свеч, а от чего-то, что было вмазано в стены: мелкие крупинки, которые мерцали холодным, голубоватым светом, и от этого света казалось, что лаборатория — не помещение, а внутренность чего-то живого, что-то вроде желудка, который переваривает.

Ефим работал. Чинил, собирал, разбирал, снова собирал. Кощей смотрел — молча, из угла, скрестив руки. Иногда подходил, трогал деталь, кивал. Один раз сказал: «Лучший. Потому что не боишься. Все боятся. Ты — нет. Это хорошо. И это плохо».

Ефим не понял. Не переспросил. Кощей не любил, когда переспрашивали.

Та ночь. Ефим спал в углу лаборатории — на матрасе, на полу, среди механизмов, потому что Кощей не выделил ему комнаты, а Ефиму было всё равно, он засыпал где угодно, как засыпают молодые, сильные, занятые делом. Он проснулся от звука. Не от крика — от того, что было до крика: шорох крыльев. Больших. Тяжёлых. Трение перо о перо — как трение бумаги о бумагу, но громче, глуше, глубже, от которого вибрировал воздух в лаборатории, и мелкие крупинки на стенах мерцали ярче, как будто тоже услышали.

Ефим открыл глаза.

Жар-птица.

Не в медной клетке — в силке. В ловушке, сплетённой из чего-то, что не было ни верёвкой, ни проволокой, ни сетью, — что-то живое, гибкое, пульсирующее, что держало птицу, как паутина держит муху. Птица была огромна — больше, чем Ефим думал, больше, чем описывали в сказках, которые он, как все, слышал в детстве и не верил. Крылья — золотые, оранжевые, красные, и каждое перо горело, как факел, но без жара, без дыма, без копоти — чистым, ровным, живым светом, который заполнял лабораторию и делал тени цветными, и голубые крупинки на стенах тускнели, потому что им не было места рядом с этим светом, как звёздам не было места рядом с солнцем.

Кощей подошёл. Медленно, спокойно, как подходят к тому, что принадлежит тебе. Он протянул руку — и взял перо. Не вырвал. Взял. Как берут чашку со стола, как берут инструмент с верстака. Просто — взял.

И птица закричала.

Крик был не птичьим. Крик был человеческим. Женским. Голосом женщины, которая кричит — не от боли, нет, от чего-то большего, чем боль: от ярости, от ужаса, от чего-то, чему нет слова и не нужно слова, потому что голос объяснял всё сам. Этот голос был таким, что камень треснул. Буквально. Стена лаборатории — каменная, два аршина толщиной — дала трещину. От пола до потолка. Тонкая, как волос, но — трещина, которая не была и не могла быть, потому что камень в два аршина не трескается от звука. Но треснул.

И Ефим увидел глаза. Глаза — не птичьи. Человеческие. Женские. Тёмные, глубокие, и в них — не страх. Не мольба. Ненависть. Ясная, холодная, тотальная, которая была не эмоцией, а силой — как электричество не эмоция, а ток. Эта ненависть прошла сквозь Ефима, как ток проходит сквозь провод, — не задев кожу, не тронув кости, но пройдя насквозь, до самого центра, до того места, где живёт не разум и не сердце, а то, что глубже и того, и другого, — и оставила там след. Ожог. Не видимый, не осязаемый, но — ожог.

Ефим сбежал. В ту же ночь. Не собрал вещи — просто встал и вышел. Кощей не остановил. Может, не заметил. Может, не счёл нужным. Ефим шёл через болото, через лес, через ночь — без дороги, без направления, только прочь, только бы не слышать, не видеть, не чувствовать. За спиной — тишина, потому что крик прекратился, и тишина была хуже крика, потому что в тишине — ничего, а в крике — хоть что-то, хоть жизнь, хоть боль, хоть свидетельство того, что живое кричит, потому что живому больно.

Ефим открыл глаза. Огарок догорал. Свет его был красным, тусклым, умирающим.

Он закашлялся. Долго, сухо, надсадно — как кашлял с той ночи, с той минуты, как вдохнул крик. Кашель не от болезни. Врачи — Ефим ходил к одному, потом к другому, потом к третьему — говорили: лёгкие чистые, хрипов нет, воспаления нет. «Отчего же кашель?» — спрашивал Ефим. «Нервный, — отвечали врачи. — От стресса. Пейте ромашку». Ефим кивал, пил ромашку, кашлял. Ромашка не помогала. Ничто не помогало. Кашель сидел в лёгких, как гвоздь в доске, — не оттуда, не от болезни, а от того, что он вдохнул в ту ночь: не дым, не пыль, не газ. Крик. Он вдохнул крик Жар-птицы, и крик остался в лёгких, и не выходил, и не заживал.

Он закрыл тетрадь. Завязал бечёвку. Спрятал — обратно, в щель, под матрас. Лёг. Пелагея спала. Дышала ровно, тихо. Ефим лежал в темноте и слушал её дыхание и гул заводов, и между ними — тишину, в которой жило то, о чём он молчал.

Сцена 5. Пелагея

Пелагея встала раньше всех.

Тихо, привычно, как встают женщины, которые знают, что если не встанут — никто не встанет. Ноги босые, пол холодный, но Пелагея не дрожит — давно перестала, привыкла. Она растопила печку — на ощупь, в темноте, потому что знает, куда положить лучину, куда — уголь, куда — щепу. Печь занялась тихо, без дыма, без шума — как занимается всё, к чему приложены руки, которые знают своё дело.

Пелагея была немолодой. Ей было сорок три, но выглядела на все пятьдесят — не от болезни, не от горя, а от жизни, которая была не тяжёлой, а длинной, и длина эта легла на лицо, как ложатся годы на камень: не трещинами, а слоями, сглаживая, округляя, делая не грубее, а тише. Тёмные круги под глазами — не от недосыпа, от постоянства, от того, что каждый день одинаков, и каждый день требует одного и того же, и нет конца, и нет перемены. Руки — грубые, мозолистые, грубее, чем у иного мужика, потому что она и стряпает, и стирает, и помогает Ефиму тянуть что-нибудь тяжёлое в мастерской, и колет дрова, и носит воду из колодца. Но лицо — спокойное. Лицо человека, который принял свою жизнь и не жалуется, не потому что нечему, а потому что жалость — не помощь, а лишняя тяжесть, а тяжестей и так хватает.

Она молилась. Не перед иконой — иконы в доме не было. Ефим не разрешал: не из неверия, а из стыда. В царстве модно не верить, и Ефим, который и так на виду — мастерская, лом во дворе, шестерёнки в супе, — не хотел лишнего внимания. Соседи и так шептались: «Долгопольцев — чудной». Икона на стене стала бы не верой, а приговором. Пелагея не спорила. Она молилась перед окном, на восток, без слов — губы шевелились, но беззвучно, как шевелятся губы у людей, которые давно забыли текст молитвы, но помнят её форму, и форма эта — достаточна, потому что молитва — не слова, а направление, и направление это — вверх, к тому, кто выше всех чертежей, выше всех заводов, выше всего дыма, который встаёт над городом и закрывает небо.

Ефим проснулся от кашля. Короткий, сдавленный — он кашлянул в подушку, чтобы не разбудить Пелагею. Но Пелагея не спала. Он поднял голову и увидел её силуэт у окна — прямой, неподвижный, с губами, которые шевелились в полутьме, и с руками, сложенными на груди, и с лицом, обращённым на восток, к рассвету, которого ещё не было, но который шёл, который всегда шёл, даже за тучами, даже за дымом, даже за самой тёмной ночью.

Он не окликнул. Не мешал. Лежал и слушал тишину, в которой шевелились беззвучные губы, и в этой тишине было больше, чем в любом разговоре, который они вели за двадцать лет совместной жизни. Потому что разговоры были о деле: о щах, о дровах, о деньгах, о том, что Антип принёс, о том, что Иван починил, — а молчание было о другом. О том, что Пелагея держит. О том, что Ефим прячет. О том, что между ними — пропасть, через которую перекинут не мост, а нить, тонкая, как паутина, и крепкая, как паутина, которая держит насекомое, в сто раз тяжелее себя.

Пелагея закончила. Повернулась. Увидела, что Ефим не спит. Секунда — их взгляды встретились в предрассветной полутьме, серые глаза в тёмные, тёмные в серые, — и в этой секунде было всё: и то, что она знает, что он не спит, и то, что он знает, что она молится, и то, что оба знают, что не спросят, потому что спрашивать — значит называть, а называть — значит признавать, а признавать — значит сделать настоящим, а настоящее — больно.

— Чай будет, — сказала Пелагея. Не вопрос. Не утешение. Факт. И пошла на кухню.

Сцена 6. Иван-дурак

День. После полудня. Солнце — где-то за дымом, его не видно, но свет есть, рассеянный, серый, без теней.

Иван сидел во дворе на обрубке бревна и чинил мельничку для соседки — бабки Авдотьи, которая жила через три дома и звала Ивана «дураком» — ласково, без злобы, как ласково называют дураками тех, кто не такой, как все, кто не гонится, не хватается, не бежит, а сидит и делает то, что ему нравится, и это «то» не приносит денег.

Мельничка была ручная, жерновая, для перетирания соли. Жернов — каменный, треснувший, на деревянном валу, который сгнил у основания. Иван не просто починил — он заменил вал, выточив новый из берёзового чурбана, и поставил подшипник: два латунных кольца и стальные шарики, которые он нашёл в отходах отцовской мастерской. Мельничка крутилась теперь плавно, без скрипа, без рывков — бабка Авдотья ахнула, когда попробовала.

— Дурак, — сказала она. — Умнее всех, а дурак. Серебро из рук роняешь.

— А что брать-то, бабушка? — ответил Иван. — У вас и так не густо.

— А у вас — густо?

— У нас — руки есть.

Бабка Авдотья покачала головой и ушла с мельничкой, и по дороге крестилась — не на Ивана, а так, по привычке, как крестятся, когда что-то хорошо, а почему хорошо — не скажешь.

К Ивану подошёл мальчишка — лет десять, босой, в исподней рубаше, с разбитой коленкой, которую замотал грязной тряпкой. В руках — деревянная лошадка. Нога у лошадки отломилась — не отломилась, а отгнила, потому что дерево было сырое, дешёвое, из тех, из каких делают не игрушки, а ящики.

Иван взял лошадку, повертел. Потом достал из кармана ножик — маленький, складной, с одним лезвием, — и начал резать. Не ногу — шарнир. Он вырезал новую ногу из обрезка берёзы, который лежал во дворе, — не просто приколотил, а сделал колено: два деревянных бруска, медная ось, латунная втулка. Нога гнулась. Лошадка могла «идти».

Мальчишка смотрел, разинув рот. Иван работал тихо, аккуратно, и напевал — тот же мотив, без слов, обрывок, который не складывался в песню, а оставался обрывком, как стружка от резца.

— Как зовут-то? — спросил Иван, не отрываясь от работы.

— Кого? — не понял мальчишка.

— Лошадку.

Мальчишка замялся. Не знал.

— Давай назовём Серко, — сказал Иван. — Серый ведь. Серко — хорошо.

Мальчишка кивнул, забрал лошадку, побежал, хромая на разбитую коленку, и на ходу дёргал ногу лошадки — шаг, шаг, шаг, — и лошадка шла, и мальчишка смеялся.

Через двор прошёл Антип. Утром-вечером, в портфеле, в чистой рубаше. Увидел Ивана, обрезки, мальчишку, убегающего с лошадкой.

— Опять бесплатно?

— А что брать-то? У него нет.

— У нас тоже нет.

— У нас — руки есть.

Антип помолчал. Махнул рукой. Ушёл.

Иван остался во дворе. Поднял голову — и увидел. Высоко, за дымом, за облаками, там, где небо должно было быть, — вспышку. Короткую, яркую. Оранжевую. Золотую. Ту же, что мелькнула над городом вчера, и позавчера, и месяц назад, — вспышку, которую видели все и которую никто не объяснял, потому что объяснять — значит признавать, а признавать — значит думать, а думать о том, что в небе, когда на земле нечего есть, — роскошь.

Мальчишка — тот самый, с лошадкой — вернулся. Тычет пальцем в небо:

— Дядь Вань, гляди! Птица!

— Перелётная, — сказал Иван, и голос его был лёгким, отшучивающимся. — К зиме летит.

— А чего ж она горит?

— А она всегда горит. Такая уж порода.

Мальчишка удовлетворился, убежал. Иван остался. Смотрел на небо, на то место, где вспышка была, но уже не была, — и в его глазах не было удивления. Не было страха. Было узнавание — тихое, спокойное, как будто он ждал. Как будто знал, что придёт. И не боялся.

Сцена 7. Тетрадь. Финал

Вечер. Ночь. Двор пустеет.

Ефим вышел во двое. Один. В темноте, в холоде — осень, и по ночам уже зябко, и Пелагея стелила ему тулуп на лавку, но он не сел, а стоял, заложив руки за спину, и смотрел на восток.

Заводы за заставой гудели. В три смены, без выходных. Гул стоял над городом, как второе небо — звуковое, низкое, бесконечное. Но над гулом — тишина. Не обычная тишина, которая бывает, когда нет звука, а другая — которая бывает, когда слушаешь не ушами, а чем-то другим, тем, что глубже ушей и ближе к костям.

Ефим смотрел на восток. Туда, где за заводами, за пустырями, за болотами, за лесами — Тридевятое царство. Он не видел ничего. Ночь, дым, темнота. Но он чувствовал. То же, что Гордеев чувствовал из окна башни, и то же, что Адриан чувствовал из тронного зала: присутствие. Не глаза — присутствие. Что-то там, за тьмой, что смотрит. Что-то, что он видел двадцать лет назад, что кричало человеческим голосом, что треснуло камень, что смотрело на него глазами, полными ненависти — и что до сих пор помнит.

Ефим достал тетрадь. Открывает на последней странице. Там — запись, сделанная в ту ночь, когда он сбежал от Кощея. Не чертёж, не расчёт. Одно слово. Написано дрожащей рукой, с нажимом, который порвал бумагу. «Помнит».

Он не знал, что Кощей — после его побега, может, через год, может, через два — выгравировует то же слово на медном ободе клетки, которую он сделал для Жар-птицы. Он не знал, что Гордеев — через двадцать лет, в подземельях того же замка — услышит то же слово от умирающего, который обгорел от перьев. Ефим не знал ни о клетке, ни о Гордееве, ни о том, что боярин, который ворует его чертежи, уже сжёг дюжину перьев и убил трёх человек. Он не знал. Но слово — было. Одно и то же. Потому что все трое — Ефим, и Кощей, и Гордеев — услышали одно и то же. Увидели одно и то же. Поняли одно и то же.

Она помнит.

Ефим закрыл тетрадь. Завязал бечёвку. Стоял во дворе, в темноте, и кашлял — тихо, надсадно, как кашлял двадцать лет. Кашель эхом отдаётся в стенах дома, в заборе, в ломаном железе во дворе, в шестерёнках, которые ржавеют под дождём.

Из окна — свет. Пелагея не спит. Она не зовёт — не зовёт, потому что знает: он придёт сам. Всегда приходит.

Ефим повернулся к свету. Останавливается на пороге. Оглянулся — на двор, на ночь, на восток, на то место, где, он знает, что-то есть. Что-то, что он видел двадцать лет назад. Что кричало. Что треснуло камень. Что смотрело. И что — помнит.

Он вошёл в дом. Дверь закрылась. Свет в окне погас. Двор опустел. Железо во дворе ржавело. Заводы гудели.

И где-то далеко — за болотом, за лесом, в Тридевятом царстве — свет. Золотой, слабый, ровный. Не утасающий.

Глава 5. «Иван и часовой скворец»

Сцена 1. Скворец на верстаке

Иван проснулся до света.

Не от звука — звуков не было. Дом спал тем предрассветным сном, который бывает только в домах, где все устают одинаково: Пелагея — от стряпни и стирки, Ефим — от работы и кашля, Антип — от чужих дел и чужих денег, Иван — от своих рук, которые не знали покоя. Спали тяжело, без снов, как засыпают механизмы, когда кончается завод: не выключаются, а останавливаются, и внутри всё ещё гудит, хотя снаружи — тишина.

Иван встал. Тихо, как отец вставал ночью, когда шёл к тетради, — крадучись, на носках, мимо скрипучей половицы. Пелагея не проснулась. Ефим не проснулся, но кашлянул во сне — коротко, глухо, как кашляют не от болезни, а от того, что лёгкие помнят то, чего голова хочет забыть.

Мастерская была тёмной. Бычий пузырь на окнах — жёлтый, мутный, похожий на окошку в чреве кита — пропускал не свет, а намёк на свет: серый, водянистый, которого хватало, чтобы видеть очертания, но не лица. Иван зажёл лампу — не большую, отцовскую, которая стояла на верстаке и давала свет, как маленькое солнце, а свою, карманную, жестяную, с осколком стекла вместо фонаря, которую он сделал прошлой зимой из консервной банки и обрезка зеркала. Свет был жалкий, рыжий, дрожащий, но Ивану хватало. Он работал и при меньшем.

Верстак. На верстаке — ящик. Нижний, дальний, тот, который Ефим не открывал три года. Иван знал, что в ящике, — знал с тех пор, как был мальчишкой и лазал по отцовским ящикам, как все дети лазают по чужим ящикам, — не из любопытства, а из инстинкта, потому что в ящиках лежит то, что старшие прячут, а что прячут — то важно. В ящике лежал скворец.

Не настоящий. Механический.

Ефим начал его три года назад. Ивану было семнадцать, и он помнил: отец работал над скворцом не как обычно — не сосредоточенно, не уверенно, а осторожно, с тем напряжением, которое бывает у людей, берущих в руки что-то слишком ценное или слишком опасное. Ефим выточил корпус из латуни — вытянутый, обтекаемый, размером с кулак, с отверстием для пружины и гнездом для механизма. Латунь была хорошая, не обрезочная, а покупная, — Ефим купил её у жестянщика на Таганке, у одного-единственного, у которого была латунь нужного состава: жёлтая, тёплая, с медью, но не медь, с цинком, но не цинк. Корпус получился гладким, тёплым на ощупь, как яйцо. Ефим собрал механизм — крошечные шестерёнки, рычажки, пружина из стальной полосы, — и механизм работал: два голоса, свист и щёлканье, чистые, точные, как у настоящей птицы. А потом остановился.

Третий голос — трель — не получился.

Иван помнил, как отец точил третий валик. Трижды. Маленький, с мизинец, с профилем такой сложности, что чертёж не помогал: профиль был не из тех, что знали часовщики Москвы. Ефим точил — и выбрасывал. Точил — и выбрасывал. Латунь летела в угол мастерской, и Иван, который сидел на чурбаке и делал свою жестяную птичку, подбирал обрезки и молча клал в коробку, потому что годится. Ефим не замечал. Он смотрел на валик — последний, третий, неудачный, — и лицо его было лицом человека, который стоит перед закрытой дверью и знает, что ключ существует, но не у него.

Потом Ефим положил скворца в ящик. Закрыл. И больше не открывал.

Иван знал почему. Не потому что отец не умел — Ефим умел всё, что умели часовщики, и больше, что они не умели. А потому что боялся. Игрушка была слишком хорошей. Слишком живой. Два голоса звучали как два голоса настоящей птицы, и в этом было что-то, что Ефим не хотел доводить до конца, потому что конец — третий голос — был за чертой, которую Ефим знал и не переходил. Черта была не в механизме. Черта была в нём.

Иван достал скворца. Подержал в ладонях — лёгкий, тёплый, гладкий, — и открыл корпус. Механизм был цел: шестерёнки блестели, пружина не ржавела, рычажки ходили мягко. Два валика — первый, второй — стояли на своих местах: свист и щёлканье. Гнездо для третьего — пустое. Ефим не поставил валик, потому что валика не было.

Иван достал из коробки — той самой, в которую складывал обрезки — три кусочка латуни. Три неудачных валика, которые отец точил и выбросил. Взял один, поднёс к лампе. Профиль был неровный, с задирами, с местами, где резец ушёл не туда. Иван видел, что отец пытался делать: профиль должен был преобразовывать вращение в колебание — в трель, в мелодию. Но профиль был слишком простым, слишком правильным, как будто Ефим пытался описать кривую, которую знал только по чертежу, а чертёж был неверным.

Иван взял заготовку — обрезок латуни, новый, чистый, — и резец. Не отцовский, свой — маленький, с ручкой из берёзы, который он сделал сам, потому что отцовские резцы были для крупных деталей, а ему нужно было тоньше. Намного тоньше.

И начал точить.

Не по чертежу — нет чертежа. По слуху.

Иван напевал. Тихо, почти беззвучно, как напевал всегда, когда работал, — тот самый обрывок мелодии, который жил в нём с детства, который он не мог ни вспомнить, ни забыть, ни сложить в песню. Мелодия была простая — три ноты, поднимающиеся, как трель скворца весной, когда он сидит на крыше и поёт сначала одному, потом всем. Иван слышал скворцов — весной, на крыше, когда дым редел и небо проступало, и скворцы прилетали и садились на печные трубы, и пели, и пели так, будто это было единственное, ради чего стоит прилетать.

Резец шёл по латуни — и Иван не смотрел на профиль. Не мог смотреть: он не знал, какой профиль ему нужен. Он знал, какой звук ему нужен, и резец шёл по металлу, как будто рука слышала то, что голова не могла сформулировать. Латунь снималась стружкой — тонкой, завивающейся, золотой в свете лампы, — и профиль проступал, как рисунок проступает на бумаге, когда карандаш идёт по линии, которую видит только тот, кто рисует.

Иван не знал теории кулачковых валиков. Не знал, как рассчитать профиль, чтобы получить нужное колебание, нужную частоту, нужный тембр. Он знал, как звучит скворец. Знал, как трель начинается — тихо, с одной ноты, — как разрастается — добавляется вторая, третья, — как обрывается — резко, на высокой ноте, — и как после обрыва остаётся дрожание, которое уже не звук, а вибрация, ощущение, тепло. И он переносил это в металл. Не рассчитывал — переносил. Как художник переносит на холст не форму, а свет: не то, как предмет выглядит, а то, как он дышит.

Стружка падала. Профиль рос. Валик — маленький, с мизинец — обретал форму, которая не была ни в одном учебнике, ни в одном чертеже, ни в одной мастерской Москвы. Форма была неправильная — по инженерным меркам, по кощевским меркам, по любым меркам, которые знали мир. Но она была верная. Как бывают верными стихи, которые нарушают все правила размера и рифмы, и от этого — правильны, потому что они живые.

Иван точил час. Два. Не считал. Лампа горела, и тень от его рук металась по стенам мастерской, как тень от крыльев, и стружка ложилась на верстак золотыми кольцами, и валик в его пальцах становился всё сложнее, всё глубже, всё ближе к тому, что он слышал и не мог сказать.

Потом он остановился. Поднёс валик к уху — не чтобы слушать, а чтобы почувствовать. Провёл пальцем по профилю — медленно, от края к краю, — и профиль был гладкий, ровный, тёплый. Готов.

Он не знал, что этот профиль — тот самый, который Кощей не смог выточить. Не знал, что Ефим видел похожий — не такой, но похожий — на стеллаже в кощевой лаборатории, двадцать лет назад, среди заготовок, которые Кощей оставил, потому что руки не слушались, потому что голова знала, а руки не могли, потому что между знанием и умением лежит пропасть, через которую не перекинуть мост расчётом. Кощей не смог. Ефим не смог. Иван — не зная, что делает то, чего не смогли двое, — сделал. Потому что он не знал, что нельзя. Потому что он работал не от знания, а от звука, и звук не знает границ.

Сцена 2. Три голоса

Ефим проснулся, когда свет за окном из чёрного стал серым. Кашлянул — длинно, надсадно, как выкашливал каждое утро, — и пошёл в мастерскую, не умываясь, не завтракая, потому что двадцать лет начинал день одинаково: от верстака, а не от стола.

Он остановился в дверях.

Иван сидел за верстаком. Перед ним — разобранный скворец. Третий валик — новый, блестящий, с профилем, которого Ефим не узнавал, — лежал рядом, на чистой тряпице, как на подушечке. Иван собирал: вставлял валик в гнездо, крепил прижимной пластиной, соединял с рычажком. Руки его двигались быстро, уверенно, и он напевал — тихо, как всегда, — и в напеве этом, если прислушаться, можно было различить трель. Ту самую. Которую Ефим трижды пытался сделать и трижды не смог.

Ефим не вошёл. Стоял в дверях, в тени, и смотрел. Кашлянул — но тихо, в кулак, давя кашель, чтобы не помешать. Он не хотел мешать. Он хотел смотреть.

Иван собрал скворца. Закрыл корпус — латунные половинки сошлись с тихим щелчком, как створки раковины. Взял ключ — маленький, часовой, из тех, что Ефим делал для пружинных механизмов, — и завёл. Пружина напряглась, и механизм щёлкнул изнутри — тихо, коротко, как сердце щёлкает перед первым ударом.

Первый голос — свист.

Чистый, высокий, как настоящая птица. Свист шёл из корпуса, как свет из фонаря, — ровно, направленно, заполняя мастерскую, отскакивая от стен, от потолка, от инструментов, и каждый инструмент откликался по-своему: резец звенел, молоток гудел, шестерёнки на полке пересвистывались. Ефим кивнул. Это он делал. Он знал этот голос, как знаешь своё слово, сказанное вслух.

Второй голос — щёлканье.

Короткое, сухое, ритмичное, как стук дятла по сухому дереву. Щёлканье шло поверх свиста, и вместе они складывались в нечто, что было уже не звуком, а разговором: одна птица свистит, другая отвечает щелчками, и в этом ответе — ритм, который живой, который дышит, который не повторяется, а варьируется, как варьируется живое, потому что мёртвое повторяется, а живое — никогда. Ефим снова кивнул. Это тоже он делал. Два голоса — два его слова. Хорошие слова. Правильные.

Третий голос — трель.

И здесь что-то изменилось.

Трель вышла — но не та, которую Иван задумал. Она была сложнее, богаче, с обертонами, которых механизм не должен был производить по конструкции, по расчёту, по всем правилам, которые Ефим знал и которым следовал всю жизнь. В трели слышался не один скворец — а как будто два, три, как будто стая, и где-то в глубине, под верхним голосом, — отзвук, которого не было в металле. Тёплый. Вибрирующий. Не звук — ощущение. Как будто скворец не поёт, а дрожит, как дрожит живое существо, которому тепло, которое живёт и знает, что живёт.

Ефим перестал дышать. Не кашлял. Не двигался. Стоял в дверях и слушал, и лицо его делало то, что делало в главе 4, когда он увидел птичку Ивана с медными шарнирами, — но сильнее. Страшнее. Узнавание. Не валика — не профиля — не голоса. Узнавание границы. Той самой, которую Ефим знал и не переходил. Которую Кощей знал и перешёл. Которая отделяла механизм от — Ефим не произносил этого слова, даже мысленно, не произносил, но оно стояло за всеми другими, как тень за предметом, — от живого.

Трель оборвалась — резко, на высокой ноте, как обрывается настоящая птица, когда слышит шаги. И после обрыва — тишина. Но не мёртвая. Не пустая. Тишина, в которой ещё дрожал отзвук, ещё вибрировало тепло, ещё жило то, что не должно было жить в латуни и стали, в шестерёнках и пружинах, в механизме, который был — по всем расчётам, по всем чертежам, по всем правилам — механизмом. Мёртвым. Собраным из мёртвого. Работающим по законам мёртвого.

Ефим вошёл. Медленно, тяжело, как входят в комнату, где что-то изменилось безвозвратно. Поставил кружку с чаем — которую принёс машинально, не помня, как налил, — на край верстака. Взял скворца. Повертел. Пробую третий валик — вынул, пальцами, без корпуса. Валик был точный, гладкий, профиль — сложный, но не кощеевский. Свой. Не копия — не повторение — не подражание. Свой, ивана, новый. И это пугало Ефима больше, чем если бы это была копия. Копию можно объяснить: видел, повторил, скопировал. Свое — нельзя. Свое означает, что дорога, от которой Ефим бежал, идёт через его сына — и сын идёт по ней не потому, что его ведут, а потому, что он сам находит путь.

Ефим положил валик. Положил скворца. Взял кружку. Сделал глоток. Кашель вернулся — глубокий, рваный, из тех, от которых Пелагея крестится на кухне. Он кашлял и не мог остановиться, и в этом кашле было всё, что он не говорил: что видел этот профиль раньше, на стеллаже у Кощей, среди заготовок, которые Кощей не доделал. Что Кощей тоже не смог. Что третий валик — та дверь, за которой начинается то, от чего Ефим бежал. Что Иван — не зная, не понимая, не видя — открыл эту дверь. И что закрыть её — нельзя. Дверь не закрывается. Он знает. Он пробовал.

— Батя, — сказал Иван, — ты почему скворца не доделал?

Ефим кашлянул. Откашлялся. Посмотрел на сына — на открытое лицо, на котором всё написано, на глаза, в которых нет ни тени, ни тайны, ни страха. На лицо человека, который не знает, что сделал что-то страшное, и не поверит, если ему скажут.

— Не получился третий голос, — сказал Ефим.

— А у меня — получился.

Ефим кивнул. Не удивился. Не обрадовался. Кивнул — как человек, который ждал, что рано или поздно это случится. Двадцать лет ждал. С того дня, как увидел, что младший сын точит деревяшку и напевает, и деревяшка в его руках становится не деревяшкой, а чем-то, у чего есть форма и голос. Ефим ждал и боялся. Сейчас — дождался.

— Покажи валик, — сказал он.

Иван принёс. Ефим взял — и Иван видел, как лицо отца застыло. Не изменилось — застыло, как лицо человека, который видит знакомое лицо в толпе незнакомых, и не может поверить, и не может не верить, и стоит, и смотрит, и не двигается, потому что движение — это признание, а признание — это приговор.

Ефим узнал профиль. Не этот — но похожий. В лаборатории Кощея. На стеллаже, среди заготовок, которые Кощей не доделал. Профиль третьего валика для птичьего голоса. Кощей тоже не смог его выточить. Точил — и бросал. Точил — и бросал. Потому что профиль требовал не знания, а чего-то другого, чего у Кощея не было, — и Ефим не знал, что это, и не хотел знать, и бежал от этого знания двадцать лет, и вот оно стоит перед ним в виде маленького латунного валика, который его сын выточил ночью, напевая.

Ефим молча вернул валик. Ушёл в мастерскую. Закрыв дверь.

Через минуту — из-за двери — кашель. Глубокий, рваный, тот, от которого Пелагея крестится на кухне.

Сцена 3. Бабка Малахова

Бабка Малахова пришла утром.

Не к Ефиму — к Ивану. Повод был бытовой: медный кувшин, ручка отвалилась, принёс бы Ефиму, да Ефим с утра закрылся в мастерской и кашляет, а к Ивану — можно, Иван не откажет, Иван никогда не отказывает. Кувшин — предлог. Малахова знала, зачем идёт. Кувшин она могла починить сама — руки у неё были крепкие, медь она знала не хуже Ефима. Но она шла к Ивану, потому что услышала.

Не трель — из своего дома, через два двора, трель не слышно. Она услышала другое: вибрацию. Как говорил Ефим — «будто что-то живое в том, что живым быть не должно». Малахова это чувствовала. В этом был её дар — не лечение, не заговоры, не травы, а чутьё на границу, на ту черту, где мёртвое становится живым, а живое — мёртвым. Она чувствовала эту черту, как слепой чувствует стену: не видит, но знает, что рядом, и останавливается.

Малахова была знахаркой. Не обычной — не из тех, что лечат отварами и припарками, которых на Огородной улице было три штуки, и все три одинаково бесполезные. Малахова была другого калибра. Её боялись. Не потому что злая — не злая. Не потому что вредная — не вредная. А потому что знающая. Знание — страшнее злости. Злость можно пережить, знание — нельзя, потому что знание не проходит, не забывается, не выдыхается, как запах, — оно остаётся, и с ним живёшь, и оно меняет тебя, хочет ты того или нет.

В её избе пахло не травами — дымом, горелым пеньём, металлом. Медные пластины висели на стенах, как иконы, — начищенные, тускло блестящие, с выгравированными знаками, которых никто не понимал, и Малахова не объясняла. Она лечила прикладыванием: медь на большое место, шёпот над медью — и боль уходила. Или не уходила. Малахова не обещала. Она делала — и всё.

Иван чинил кувшин у горна. Быстро, ловко — припаял ручку медным прутом, зачистил шов, проверил на прочность. Малахова сидела на чурбаке, смотрела на его руки. Не на кувшин — на руки. На то, как пальцы держат пруток, как поводок ложится ровно, как руки чувствуют

температуру металла — не по цвету, не по запаху, а по чему-то другому, по тому внутреннему слуху, который у Ивана был, как у музыкантов — абсолютный слух, только не на ноты, а на материал.

— Покажи скворца, — сказала Малахова.

Не попросила. Сказала. Голос у неё был низкий, хриплый, прокуренный — будто она когда-то давно дышала огнём и лёгкие не оправились. Иван посмотрел на неё — с любопытством, без опаски, — и пошёл за скворцом.

Принёс. Положил на верстак. Завёл.

Первый голос — свист. Малахова кивнула. Не удивилась. Не заинтересовалась. Кивнула — как кивают на знакомое: да, знаю, видела, дальше.

Второй — щёлканье. Малахова снова кивнула. Та же реакция: да, дальше.

Третий — трель.

И Малахова крестилась. Быстро, двумя пальцами, как Пелагея — но не так. У Пелагеи это жест привычки, жест утренней молитвы, жест женщины, которая крестится, потому что так делала мать, и мать матери, и так было всегда. У Малаховой — жест защиты. Не от зла — от знания. Она крестилась, как закрываются: быстро, инстинктивно, от того, что нельзя видеть с открытыми глазами.

Трель звучала. Обертоны, которых не должно быть, — были. Тепло, которого не должно быть, — было. И Малахова слышала это — не ушами, чем-то другим, тем чутьём, которое вело её всю жизнь к границе и от границы, — и лицо её сделалось лицом человека, который видит знакомое в незнакомом месте: не радость, не страх, а тоску. Тихую, тёплую, безнадёжную. Тоску узнавания.

Трель оборвалась. Малахова опустила руку.

— Ты, Ванька, — сказала она, и голос её был ровным, но тихим, как говорят, когда не хотят, чтобы услышал кто-то лишний, — не лепишь. А вызываешь.

Пауза. Иван смотрел на неё с открытой улыбкой — той, которая у него всегда, когда он не понимает. Не смущение, не страх — любопытство. Как у ребёнка, которому сказали что-то интересное и непонятное, и ребёнок не боится, потому что не знает, что бояться, а хочет узнать, потому что незнакомое — это не страшно, а любопытно.

— Так и Кощей начинал, — добавила Малахова.

Иван не понял. Моргнул. Улыбка не исчезла — стала шире, как бывает, когда рассказывают сказку, и сказка — страшная, но красивая, и слушать — приятно, и бояться — не обязательно, потому что сказка.

— Кощей тоже делал птиц, — продолжала Малахова, и голос её стал тише, глуше, как будто она говорила не Ивану — себе, или кому-то, кто стоял за Иваном, невидимый, но при-

существующий. — Сначала деревянных. Резьба, форма, крылья, хвост. Красиво. Мёртво. Дерево — оно мёртвое, из него птица не живёт, из него птица — кукла. Кощей это понимал. Кощей был умный, Кощей — первым делал то, что другие не делали, и первым понимал, когда сделанное — не то. Потом — медных. С механизмами. Пели, двигались, махали крыльями. И тоже — мёртво. Красиво, но мёртво. Механизм — он механизм и есть. Шестерёнки крутятся, пружина разжимается, рычажки двигаются — и всё. Движение есть, а жизни нет. Кощей это тоже понимал.

Она замолчала. Надолго. Иван ждал. Не торопил. Умел ждать — как умел слушать, как умел молчать, как умел всё, что не требовало слов, а требовало присутствия.

— А потом, — сказала Малахова, и голос её упал почти до шёпота, — потом — из живого.

— Как это — из живого? — спросил Иван. Улыбка ещё была, но чуть потускнела — не от страха, от непонимания, которое начинает чувствовать, что за непониманием — что-то, что стоит понять.

Малахова не ответила. Не потому что не знала — знала слишком хорошо, и знала, что словами это не передать, как не передают словами запах, как не передают словами тепло чужой ладони, как не передают словами то, что можно только почувствовать — или не почувствовать, и тогда слова бесполезны. Она повторила:

— Ты на каком этапе, Ванька?

Иван засмеялся.

Не насмешливо — искренне. Тепло. Как смеются над сказкой, которую рассказывают на ночь, когда за окном темно, и печь теплая, и рассказчик — старая знакомая, и сказка — страшная, но добрая, потому что все знают, что в сказках добро побеждает, и Кощей — dies в конце, и герой — alive, и всё заканчивается хорошо. Смех Ивана был тем же, что и всё в нём: открытым, незащитным, настоящим. Смех человека, который не боится, потому что не верит. Не в Бога — в страшное. В то, что Малахова говорит правду. В то, что сказка — не сказка.

Малахова не смеялась.

Она сидела на чурбаке, смотрела на скворца, который замолчал и лежал на верстаке — маленький, латунный, тёплый, — и на Ивана, который смеялся, и в её старых глазах — не страх, не осуждение, не злость. Тоска. Та самая, тихая, тёплая, безнадежная. Тоска человека, который видел, как начинается дорога, на которой не было хороших концов. Не у Кощея — до Кощея. Или в самом Кощее, когда он был молод, когда он был не инженером, не колдуном, не бессмертным, а просто человеком, у которого руки горели от работы, и который не знал, где предел, и не искал предела, потому что искал не предел — а живое. И нашёл. И это нашедшее — сожрало его. Как огонь сожирал дрова, которые его породили.

Она встала. Взяла кувшин. Прижала к груди. Постояла — секунду, две, — и пошла к калитке. На пороге обернулась. Лицо её — тёмное, морщинистое, как кора старого дерева — было лицом человека, который говорит последнее, что может сказать, и знает, что последнее — не значит достаточное.

— Птицы-то, — сказала она. — Они помнят, кто их сделал.

И ушла.

Иван стоял во дворе. Скворец на верстаке. Кувшин унесли. Смех — ушёл. Не потому что стало страшно — не страшно. Стало тихо. Та тишина, которая приходит после слов, которые не понял, но которые остались, как остаётся заноза: не болит, но чувствуешь, что там, и что само не выйдет.

Сцена 4. После Малаховой

Полдень. Двор. Ефим в мастерской, за закрытой дверью, делает шестерёнку по заказу Гордеева — тому самому, из главы 4, по украденному чертежу. Пелагея на кухне. Антипа нет — на службе.

Иван остался во дворе один. Скворец лежал на верстаке, накрытый тряпкой — Иван накрыл, не подумав, машинально, как накрывают то, что не хотят видеть. Или то, что не хочет, чтобы его видели.

Он стоял и смотрел на тряпку. Тряпка лежала ровно. Ничего не шевелилось. И всё-таки — Иван не мог объяснить, не мог сформулировать, не мог даже понять, что именно, — он чувствовал неуют. Не страх — неуют. Как будто он сделал вещь, которая знает о нём больше, чем он о ней. Как будто между ним и скворцом — не дерево, не металл, не механизм, а что-то другое, чему нет названия, что тянется, как нить, от его рук к латунному корпусу, и обратно, и обратно, и нить эта — не рвётся.

Он отогнал это. Не думал — отогнал, как отгоняют муху: движением, действием. Взял скворца из-под тряпки, завёл, послушал третий голос. Трель звучала — но теперь Иван слышал в ней то, что Малахова слышала: обертоны, которых не должно быть. И не только обертоны — он слышал, или ему казалось, что слышал, что трель не заканчивается, когда механизм замолкает. Что после — после щелчка, после остановки — что-то ещё дрожит в корпусе, не звук, а вибрация, не вибрация, а тепло, не тепло, а присутствие, и это присущение — от него. От его рук. От того, что он вложил в валик, когда точил и напевал, и не знал, что вкладывает.

Мысль пришла — странная, непривычная, как чужая мелодия, которую услышал впервые и не можешь повторить: что третий валик получился не потому, что он точил правильно, а потому, что что-то точило через него. Не он сделал валик. Валик сделал сам, а он был инструментом. Резец — инструментом. Латунь — инструментом. Руки — инструментом. А что работало через них — он не знал. Не хотел знать. Не потому что боялся — потому что не умел. Он не из тех, кто знает. Он из тех, кто делает.

Мысль пришла и ушла. Иван не цеплялся. Он не из тех, кто цепляется. Он из тех, кто отпускает — как отпускают стружку, которая падает с резца и летит, и не нужно её ловить, потому что новая стружка пойдёт, и новая, и новая, и дело — не в стружке, а в том, что происходит под ней.

Он отложил скворца. Взял жестяную птичку — ту самую, из главы 4, с медными шарнирами, которую отец сказал перевести на сталь. Простая. Понятная. Безопасная. Два голоса — это игрушка. Три — уже нет. Иван не знал, что «уже нет». Не знал, что граница пройдена. Не

знал, что третий валик — это дверь, которая не закрывается. Он знал только, что жестяная птичка — понятная, и от неё — неуютно не бывает.

Ефим вышел из мастерской. Кашлянул — коротко, давя, в кулак. Посмотрел на Ивана, на скворца на верстаке, на жестяную птичку в его руках. Иван поднял голову.

— Батя, а ты почему скворца не доделал?

Ефим молчал. Долго. Так долго, что Иван подумал: не слышал. Но Ефим слышал. Ефим всё слышал. Он молчал, потому что ответ — не в словах, а в том, что за словами, и за словами — то, о чём не говорят в доме Долгопольцевых, потому что говорить — значит называть, а называть — значит признавать.

— Не получился третий голос, — сказал он наконец.

— А у меня — получился.

Ефим кивнул. Не удивился. Не обрадовался. Кивнул — как человек, который ждал, что рано или поздно это случится, и вот случилось, и он не знает, что с этим делать, потому что он не ждал этого — он ждал, что обойдётся. Что Иван будет точить жести и проволоку, и делать птичек, и чинить мельнички, и жить — просто, тихо, как живут люди, у которых руки золотые, а голова не лезет дальше рук. Но не обошлось.

— Покажи валик, — сказал он.

Иван принёс. Ефим взял, повернул, поднёс к лампе — той, большой, отцовской, которая давала свет, как маленькое солнце. Профиль — сложный, плавный, с переходами, которые не описываются ни одной формулой, — блестел в свете лампы, и Ефим видел: это не копия. Не кощеевский профиль — похожий, но не тот. Другой. Свой. Ивана. И от этого — страшнее. Потому что копия — это повторение, а повторение можно понять. А своё — нельзя. Своё — это значит, что дорога не та же, но параллельная, и идёт она туда же, и конец у неё — тот же, и ничего с этим не сделать, потому что ты не можешь остановить того, кто идёт, не зная, куда идёт, и не потому, что не хочет знать, а потому, что не может знать, потому что знание — не для него, он — из тех, кто делает, а не из тех, кто знает.

Ефим молча вернул валик. Ушёл в мастерскую. Закрыв дверь.

Через минуту — из-за двери — кашель. Глубокий, рваный, тот, от которого Пелагея крестится на кухне. И который не прекращается, и который — не от простуды, не от сырости, не от пыли, — а от того, что Ефим держит в лёгких, как держат воду в плотине: давит, держит, не пускает, а вода — поднимается, и плотина — трещит, и однажды — прорвёт. И Ефим знает, что прорвёт. И не знает, что будет после.

Сцена 5. Вечер. Небо

Вечер на Огородной улице был таким же, как утро, только тише. Тот же дым — серо-жёлтый, маслянистый, — но ниже, тяжелее, как будто за день он набрал вес и осел на крыши, на заборы, на деревья, на людей. Тот же запах — уголь, железо, гарь, — но глуше, как будто за день привык, и нос — перестал замечать. Заводской гудок — далёкий, низкий, как уставший

зверь, — проревел смену и замолчал, и наступила тишина, которая была не тишиной, а паузой: между гудками, между сменами, между тем, что было, и тем, что будет.

Иван сидел на чурбаке. Скворец у него на коленях, накрытый тряпкой. Он не заводил его. Не трогал. Просто сидел, и руки — лежали на тряпке, и через тряпку — чувствовали. Тепло. Не от солнца — солнца не было. Не от рук — руки были холодные, осень. Тепло — от скворца. Едва заметное. Как от печи, которая остыла, но ещё не остыла окончательно. Как от углей, которые кажутся мёртвыми, но внутри — красные, живые, ждущие.

Пелагея вышла во двор. Садится рядом. Молчит. Пелагея умела молчать рядом — не пустым молчанием, а полным, тем, в котором не нужно слов, потому что слова — лишние, а присутствие — достаточно. Она сидела, смотрела на то же, на что смотрел Иван: на двор, на лом, на забор, на небо — серое, задымлённое, низкое, как потолок в низкой избе.

— Бабка Малахова — она хорошая, — сказала Пелагея. Голос был тихим, ровным, как всё в ней. — Только говорит страшно.

— А чего страшно? — Иван улыбнулся. Улыбка была та же — открытая, тёплая, — но чуть медленнее, чем обычно. Как будто на дне улыбки — что-то новое, чего не было вчера. Не тяжесть — тень. Не тень — вопрос, который Иван ещё не задал себе, но который уже стоял.

— А того, что правда страшно, — ответила Пелагея. — Ложь не страшная. Ложь — смешная. А правда — вот она, страшная. Потому что от правды не отмахнёшься. От лжи — отмахнёшься: ну, мол, врёт, ну и пусть. А правда — останется. И с ней жить.

Иван молчал. Пелагея перекрестилась — быстро, двумя пальцами, привычно, как крестятся женщины, которые верят без объяснений, без оправданий, без доказательств, — и которые крестятся не потому, что вера спасёт, а потому, что без креста — не вынести. Не то, что страшно. А то, что есть. То, что лежит на дне каждого дня, как ржавчина на железе: незаметно, но есть, и подтачивает, и однажды — труба лопнёт, и никто не знает когда.

— Ваня, — сказала Пелагея, и голос её стал тише, ближе, как будто она говорила не снаружи, а изнутри, из того места, откуда говорят матери, когда говорят главное. — Ты — хороший. Ты лучше всех, кого я знаю. Только... — она запнулась. Не оттого, что не знает слов — оттого, что слова недостаточны, и она это знает, и всё-таки говорит, потому что не сказать — хуже. — Только не делай больше трёх голосов.

Иван смотрел на неё. Улыбка медленно сшла с лица. Не потому что испугался — не испугался. Потому что понял. Не понял, что именно — понял, что мать тоже знает. Что-то. Что-то, о чём не говорят. Что-то, что связывает Ефимов кашель, и бабу Махалову, и профиль валика, и слово «помнит», и вспышку в небе, которую он видел и которой не испугался. Что-то, что тянется через всё — через дом, через двор, через Огородную улицу, через дым, через лес, через болото, — в Тридевятое царство. К тому, что светит. К тому, что ждёт. К тому, что — помнит.

Пелагея встала. Ушла на кухню. Дверь закрылась тихо, как закрываются двери в домах, где живут осторожно.

Иван остался.

Он поднял голову. Небо — серое, задымлённое, низкое. Но там, высоко, за всем этим, за дымом, за тучами, за тем, что закрывало небо от глаз, — на секунду, на долю секунды — вспышка. Короткая, золотая, оранжевая. Та самая. Иван видел её и раньше — и не боялся. Называл «перелётной». Улыбался. Отшучивался. Не думал.

Сегодня он смотрел на неё и впервые — впервые — думал: а что, если это не «перелётная»?

Что, если она летит сюда?

И пока он думал — скворец под тряпкой дёрнулся. Или показалось. Тряпка не шевельнулась. Лежала ровно. Но Иван слышал — или ему казалось, что слышал, — третий голос. Тихий, едва различимый, как будто скворец пел без пружины, без завода, сам. Трель с обертонами, которых не должно быть. Трель, которая не кончалась, когда механизм кончился.

Иван положил руку на тряпку. Скворец под ней — тёплый. Не от солнца, не от рук. Тёплый. Как живое.

Он убрал руку. Встал. Пошёл в дом. Не оглядывался.

Тряпка на верстаке лежала ровно. И под ней — тишина. Но не мёртвая. Другая. Тишина, которая ждёт.

А в небе — за дымом, за тучами, там, где воздух был чистым и холодным — вспышка. Не молния. Не звезда. Вспышка, которая горела золотом, и след от неё был оранжевым, как перо, как огонь, как память о чём-то, что не забыто. И не прощено.

Иван не видел. Он уже был в доме. Дверь закрылась. Свет в окне загорелся — жёлтый, тёплый, домашний, — и погас, когда Иван лёг спать.

А вспышка — осталась. В небе, за дымом. Ждала.

Как ждала всегда.

Глава 6. «Царский указ»

Сцена 1. Манифест

Утро в тот день началось не с гудка — гудки гудели всегда, и их перестали замечать, как перестают замечать сердцебиение, — а с голоса. Вернее, с того, что имитировало голос. Вернее, с того, что мёртвое подражало живому и делало это плохо, но упорно, как упрямо всё в этом мире, что построено человеком и отказывается признать, что оно — не человек.

Автомат-герольд стоял на деревянном помосте у ворот дворца — латунный, в человеческий рост, с медной маской вместо лица, на которой были вычеканены черты: нос, рот, надбровные дуги, даже усы — всё это *semblant* достоинства, которое полагалось герольду по чину. Машина была новой — из партии Гордеева, купленной дворцовой канцелярией в рассрочку, — и работала ещё чисто, без тех сбоев, которые начинались после третьего месяца службы.

Механизированный голос — трубка, раструб, мембрана, за которой дрожал язычок, приводимый в движение кулачковым механизмом — хрипел и гнусавил на шипящих, но слова были разборчивы.

Герольд зачитывал манифест.

«Объявляется всем и каждому, от боярина до последнего смерда, что государь император Адриан Алексеевич, самодержец всея Руси, повелевает следующее. Тому, кто доставит во дворец Жар-птицу — живую или мёртвую, целиком или в виде достоверных останков — жалуются титул князя империи, половина земель и заводов царства по выбору государя и звание первого механика империи со всеми правами и доходами, сему званию присвоенными. Доставка — в тридневный срок с момента поимки. Награда выдаётся безотлагательно и без удержаний. Подпись — государя. Печать — государственная. Проверка — царская. Обжалованию не подлежит».

Толпа на площади — человек триста, может, больше — слушала. Рабочие в серых фартуках, торговцы с лотками, которых не успели согнать, нищие, которые не понимали, но стояли, потому что стояли все, двое городских — один пожилой, с седым усом, который торчал из-под форменной фуражки, как последний пучок травы из-под снега, — солдаты, мальчишки, собаки. Они слушали не содержание. Они слушали машину, которая говорила человеческим голосом, и это было удивительнее, чем всё, что машина говорила. Медная маска шевелила чеканным ртом, и звуки выходили из неё — слова, русские, осмысленные, — и люди смотрели на этот рот, вырезанный из латуни, и видели в нём не инструмент, а лицо. Лицо, которое не было лицом. Голос, который не был голосом. Власть, которая говорила через мёртвое, потому что живое давно устало.

Кто-то засмеялся — коротко, нервно, как смеются от неловкости.

— Птицу ему подай! — крикнул голос из задних рядов. — А может, ещё и золотное яйцо? И бабу-ягу в придачу!

Смех — рваный, нервный, как стая ворон, которую вспугнули. Кто-то крестился. Кто-то уже уходил, не дослушав, — пожилой торговец в длинном кафтане, который зашагал прочь, качая головой и бормоча что-то про царя, который от копоты рехнулся. Но кто-то — и это было важнее, чем те, кто ушёл, — оставался. И считал. Не деньги — возможности. Стоял неподвижно, с прищуренными глазами, и губы его шевелились, складывая цифры, которых он не знал, но которые чувствовал, как чувствует игрок, что карта, которая упадёт следующей, — его.

Автомат-герольд дошёл до слова «птица». И споткнулся. Механизм провернулся — шестерёнка, которая должна была щёлкнуть один раз, щёлкнула дважды, — и слово вышло из медного рта разорванным: «пт-щ-ица». Голос дрогнул, как дрогнул бы живой, если бы ему в горло попала кость. Машина кашлянула — металлическим, сухим, коротким звуком, который не был предусмотрен конструкцией, — и пошла дальше, к следующему слову. Но этот щелчок — лишний, седьмой, не положенный, не запланированный — прозвучал в утреннем воздухе, как фальшивая нота, и один из городских — тот самый, с седым усом — морщился, будто услышал что-то, чего не должен был слышать. Он отошёл на шаг. Не от страха — от чего-то, чему не мог подобрать слова. Просто отошёл. Как отходят от края, когда чувствуют, что земля может обвалиться.

Бумага с текстом манифеста была прибита к доске у ворот — рядом с другими объявлениями: о наборе на заводы, о ценах на уголь, о смертях от взрывов котлов, о розыске дезертира. Манифест выглядел как ещё одна сводка — такой же бумажный прямоугольник, таким же канцелярским шрифтом, на такой же серой бумаге. Но написан он был иначе — короче, суше, с одним словом, которое выбивалось из стиля всех остальных: «доставить». Не «найти», не «поймать», не «представить» — «доставить». Слово из языка торговли. Слово, которым сопровождается товар. Царь — возможно, сам того не замечая — говорил о птице как о грузе.

В тронном зале, за окном, за стеклом, затянутым копотью, Адриан стоял у чертёжной доски и слушал гул толпы. Гул был далёкий, приглушённый — стекло и стены глушили его, как вода глушит звук, — но Адриан слышал. Он всегда слышал. Это было его несчастье — слышать то, что другие пропускали: не только слова, но и паузы между ними, не только крики, но и тишину, которая наступала после.

Волынский стоял рядом — как всегда, как тень, как вторая рука. Не двигался. Ждал. Он научился ждать за годы службы: ждать, когда царь заговорит, ждать, когда замолчит, ждать, когда решит, ждать, когда передумает. Это было его умение — единственное, которое он считал по-настоящему своим, — и оно стоило больше, чем все чертежи и все расчёты, которые он когда-либо производил.

— Если указ не сработает, — сказал Адриан, не оборачиваясь, — через полгода некому будет слушать герольдов.

Голос его был тихим, ровным, как линия, прочерченная по линейке. Волынский слушал.

— Указ — не механизм, государь, — ответил он. — Его нельзя починить, если сломается.

— Я знаю, — сказал Адриан. — Поэтому я дал им не приказ — цену.

Пауза. Волынский молчал, потому что понял. Адриан молчал, потому что сказал всё. Тридцать лет назад он стоял в тёмной комнате и держал в ладонях перо, которое дышало. Он знал, что живое. Он знал, что настоящее. Он знал, что украдено. А теперь он стоял в зале, который стал чертёжной, и давал людям цену за то, что они не могли ни купить, ни продать, ни даже найти — потому что не знали, где искать. Но люди пойдут. Не за птицей — за ценой. За полцарства. За титулом. За званием. Жадность — единственный двигатель, который работает надёжнее пара и не взрывается, как батарейки. Адриан отказался от принуждения — от «наград не будет, будут последствия» — и перешёл к соблазну. Он рассчитал, что страх действует хуже. Он был прав. Он всегда был прав в расчётах. Он ошибался в другом — в людях. Но это он узнает позже.

Сцена 2. Слухи

Трактир «Разлом» стоял у Хитрова рынка — кривой, двухэтажный, с перекосившейся крышей и подвалом, который по весне заливало водой, так что пол первого этажа был вечно

мокрым, а нижние ступеньки лестницы — вечно скользкими. Трактирщик — Пётр Иванович, хитрый, быстрый, с глазами, которые бегали быстрее ног, — выставил на дверь доску с мелом: «Здесь говорят про Жар-птицу». И народ шёл.

К вечеру трактир был полон. Чад от масляных ламп висел под потолком, как второе облако — ниже того, что стлалось над городом снаружи. Копоть покрывала стены слоями, каждый толщиной в год: нижний — почти чёрный, верхний — серо-коричневый, и если провести ногтем, оставалась белая полоса, как на грифеле доски. Дым от махорки — густой, едкий, от которого щипало глаза — смешивался с запахом дешёвой водки, кислой капусты и немых тел, и получался тот особый трактирный дух, который нельзя было спутать ни с чем и который въедался в одежду так, что не выветривался ни на один день.

Трактирный автомат — из партии Гордеева, купленный Пётр Ивановичем в рассрочку, которая тянулась уже второй год — разносил кружки. Высокий, латунный, с медным подносом, который дрожал в клешнях, он двигался между столами с той механической учтивостью, которая на первый взгляд казалась заботой, а на второй — конвульсией. Сегодня он двигался резче, чем обычно, — быстрее, с shorter паузами между шагами, — и один раз, у стола у окна, ронил поднос. Кружки звякнули, водка пролилась, мужик за столом выругался и стукнул автомат кулаком по спине. Автомат дёрнулся, подобрал поднос, поставил кружки обратно — и пошёл дальше, как ни в чём не бывало. Но шарнир его левого плеча — там, где медная рука крепилась к корпусу, — щёлкнул лишний раз. Никто не заметил. Никто не считал.

Разговоры шли — не потоком, а потоками, которые пересекались, сливались, разбегались, как ручьи в весеннем поле.

Пожилой рабочий — с лицом, на котором копоть въелась так глубоко, что морщины казались трещинами в угле, — говорил громко, с пьяной уверенностью, которая бывает у тех, кто ничего не имеет и поэтому боится потерять только одно — право говорить:

— Сказки. Царь с ума сошёл от копоти. Нету никакой птицы. Была — и нету. А кто поверил — дурак. Иди ищи её, в болоте, в лесу, в Тридевятом царстве — а я тут посижу, водку попою. Мне и тут хорошо.

Рядом — торговец скобяным товаром, маленький, жилистый, с цепкими руками, которые не могли не считать: он перекладывал гвозди из кармана в карман, будто проверял, на месте ли. Говорил тихо, быстро, для соседа, который слушал, прикрыв рот ладонью:

— Если она существует — значит, её можно поймать. А если можно поймать — значит, можно продать. А если продать — значит, цена есть. А если цена есть — почему не я? У меня денег на дорогу хватит. Лошадь есть. Проводника найду. А не найду — так сам дойду. Я не боязливый.

Трое молодых — крепких, нечёсанных, с глазами, в которых не было ни страха, ни надежды, а только та пустая готовность, которая бывает у людей, которым нечего терять, — сидели у стены и пили. Один — самый шумный, с разбитой губой и татуировкой на запястье, которую он не прятал, — сказал:

— Что нам терять? Руки есть, ноги есть. Найдём реку, найдём царство, вернёмся князьями. Или не вернёмся — так хоть не на заводе сгнием. Там, в болоте, может, и воздух чище. Чем тут дышим? Угаром?

Смех — хриплый, короткий, как кашель.

И в углу — у стены, в тени, где лампа не доставала, — сидел мужик. Молчаливый. Не пил. Не спорил. Сидел, сложив руки на столе, и слушал. Когда его спрашивали — он отмахивался, как отмахиваются от мухи. Когда к нему подсаживались — он вставал и отходил. Он был не из этих — не из рабочих, не из торговцев, не из бродяг. Одежда — простая, тёмная, но чистая. Руки — крупные, с мозолями, но не от молота и не от пилы — от чего-то другого, чего нельзя было определить с первого взгляда. Он слушал весь вечер, и только один раз, вставая, чтобы уйти, бросил через плечо, негромко, но так, что трое за ближайшим столом замолчали:

— Перья-то уже жгут. На мануфактуре. Боярин Гордеев.

И ушёл. Дверь хлопнула. Сквозняк качнул лампу. Тени метнулись по стенам, как стая птиц, испугнутых с крыши.

Трактир взорвался. Вопросы, крики, ругань — кто знал, кто слышал, кто видел, где мануфактура, какой боярин, какие перья. Торговец скобяным товаром побледнел и побежал к двери, опрокинув стул. Пожилой рабочий замолчал и налил себе ещё, но рука дрожала, и водка пролилась на стол. Трое молодых переглянулись — и на их лицах, которые до этого были пустыми, как чистый лист, появилось то, чего не было раньше: расчёт.

Драка началась через десять минут. Двое — торговец и один из молодых — сцепились из-за того, кто «первый» пойдёт. Не в Тридевятое царство — «первый» вообще. Первым к деньгам, первым к птице, первым к цене. Драка была не серьёзной — кулаки, мат, разбитый нос, — но трактирщик вызвал городских, и тех вытолкали на улицу. Дождь — мелкий, холодный, московский, который не идёт, а моросит, и от которого не спасает ни плащ, ни зонт, — хлестал им в лицо. Они стояли друг напротив друга, тяжело дыша, мокрые, злые, и каждый думал одно и то же: «Я пойду первым». Не «я найду птицу». «Я пойду первым». Птица была поводом. Цена — причиной. А «первый» — единственным словом, которое имело смысл.

Слово «птица» к вечеру звучало в городе чаще, чем «хлеб» и «уголь». Указ сработал — но не так, как задумал царь. Царь хотел, чтобы искали. Город хотел — чтобы ловили и продавали. Из поиска получилось состязание, из состязания — бизнес.

Сцена 3. Трое на плоту

Утро следующего дня было серым, как всегда — не серым от туч, а серым от дыма, который стоял над городом так плотно, что солнце не пробивалось, и небо было не небом, а потолком, низким, давящим, прокопчённым. Берег Москвы-реки, за последней заставой, был пуст и грязен — чёрная земля, камыш, коряги, и река, широкая, быстрая, холодная, которая несла свои воды к болоту, а за болотом — к лесу, а за лесом — к тому, что одни называли Тридевятым царством, а другие — ничем.

Трое строили плот.

Они были не из трактира — из других, которые собрались быстрее. Может, они слышали об указе от герольда. Может — от соседей. Может — друг от друга. Они не знали друг друга вчера. Сегодня они были товарищами. Завтра их не будет.

Первый — кузнец-недоучка, здоровый, с руками, которые привыкли к молоту, но не к воде. Он строил плот, потому что умел вязать узлы — единственный из троих. Узлы были плохие — мокрые верёвки скользили, брёвна расползались, — но он вязал их с упорством, которое было единственным, что он унаследовал от кузнечного ремесла: бей, пока не получится.

Второй — бывший солдат, дезертир, с ножом за пазухой и татуировкой на руке, которую он прятал под рукавом. Полк остался позади — там его ждала виселица, и он знал это, и виселица была точнее любой карты: она показывала, куда идти. Не в Тридевятое царство — прочь. Прочь от петли. Птица была удачей, а удача — единственным оружием, которого у него не отняли.

Третий — мальчишка, лет шестнадцати, тощий, с острыми ключицами, которые торчали из ворота рубахи, как жерди из сарая. Он пришёл, потому что нечем было платить за жильё. Хозяйка — баба Анюта с Огородной улицы, которая сдавала угол за три копейки в день — сказала: или плати, или уходи. Он ушёл. Не к ней — сюда. На берег, к реке, к двум незнакомцам, которые строили плот и говорили про птицу. Он не боялся, потому что не понимал, чего бояться. Река? Река — вода. Болото? Болото — грязь. Лес? Лес — деревья. Он видел худшее — завод, на котором работал три месяца, пока не уволили, потому что кашлял и не мог держать молот. Кашель остался. Тонкий, сухой, как треск сухой доски.

Плот был готов. Или почти готов. Или не готов — но они решили, что готов, потому что ждать было нечего, а идти — было надо. Брёвна — украденные со стройки моста, сырые, тяжёлые — лежали в два ряда, стянутые верёвками, которые уже намокли и провисли. Плот выглядел как то, чем он был: кучей брёвен, наспех связанных пьяными руками.

На берегу была свидетельница. Старая женщина с корзиной — бельё стирать. Она пришла к воде, поставила корзину, посмотрела на плот, на троих, на реку — и перекрестилась. Двумя пальцами, как Пелагея. Не окликнула. Не предупредила. Не сказала «не надо» или «вернитесь». Перекрестилась и начала стирать. Она знала, что не её дело — останавливать. Её дело — стирать. И молиться. И то, и другое — тихо, без свидетелей, без результата, кроме чистого белья и Бога, который слышит или не слышит.

Плот отошёл от берега. Качнулся. Брёвна закрипели — тупо, глухо, как скрипят зубы у спящего. Верёвки натянулись, заскользили по мокрому дереву, и стало видно, что узлы, которые кузнец вязал с таким упорством, не держат — не потому, что плохие, а потому, что мокрые, а мокрая верёвка на мокром дереве не держит ничего, как не держит мокрая рука мокрый нож.

Течение подхватило плот. Саженой сто — река несла его ровно, гладко, как несёт всё, что попало в её власть: брёвна, доски, трупы. Трое стояли — кузнец впереди, солдат посередине, мальчишка сзади — и каждый думал, что плот — лодка, а река — дорога, и что через час, через два, они будут на том берегу, в другом царстве, где птица, где удача, где другая жизнь.

Потом река ускорилась. Не резко — постепенно, как постепенно темнеет небо перед грозой. Вода, которая была гладкой, стала рябой, потом — гребнистой, потом — пенной. Водовороты — чёрные, вращающиеся, как глаза неведомого зверя — открылись у того берега, где болото подступало к воде и корни деревьев уходили в реку, как пальцы в рану. Течение тянуло плот к этим водоворотам — неумолимо, ровно, с той спокойной силой, с которой река делает всё, что делает.

Брёвна разошлись. Сначала чуть — щель в палец, потом — в ладонь, потом — в локоть. Верёвки — мокрые, скользкие, бесполезные — не держали. Мальчишка упал первым. Он не кричал — вода глушит, как глушит подушка, только холоднее и безвозвратнее. Он ушёл под поверхность, и река сомкнулась над ним, как сомкнулась бы над кем угодно: без звука, без усилия, без интереса.

Солдат прыгнул за ним. Не от жалости — от инстинкта. Тело помнило то, что голова забыла: спасать. В полку учили спасать — тонувших, раненых, горящих. Тело прыгнуло. Тело вошло в воду. Течение — сильнее тела, сильнее инстинкта, сильнее всего, что человек может противопоставить реке, — забрало его. Солдат ушёл под воду. Не вынырнул.

Кузнец стоял на том, что осталось от плота — два бревна, стянутые обрывком верёвки, — и держался. Держался за верёвку, которая рвалась. Держался за бревно, которое проворачивалось под ногами. Держался за жизнь, которая уходила — не от воды, от решения, которое он принял вчера, когда услышал про птицу и решил, что птица — это шанс. Он смотрел на берег — далёкий, мокрый, серый — и думал: «Надо было остаться». Думал — не словами, а тем чувством, которое приходит в последнюю секунду, когда уже поздно, и которое точнее любого слова: сожаление. Не о смерти — о жизни, которую прожил не так.

Верёвка лопнула. Вода забрала его.

Старуха на берегу не видела. Она стирала. Вода унесла троих, и река была гладкой, ровной, равнодушной — как всё в этом мире, что мёртвое и что работает без перерыва.

Вечером на берегу нашли обрывок верёвки и одно бревно. Городовой — тот самый, с седым усом, который отошёл от автомата-герольда — записал в протокол: «Утонули по пьянке. Без умысла». Он не написал «из-за указа». Не написал «из-за птицы». Без умысла. Так проще. Так — спокойнее. Так — можно жить дальше, не думая о том, что указ — тоже умысел, и что царь, который объявил цену, — тоже виноват, как виноват тот, кто бросает мясо в воду и ждёт, кто поплывёт за ним.

Сцена 4. Гордеев считает

Вечер. Кабинет в башне. Стекланный колпак с тремя перьями, которые мерцали ровно — ровнее, чем обычно, будто знали, что о них говорят, и хотели показать, что им всё равно. Карта Тридевятого царства на стене — тёмная кожа, красные крестики, белые пятна неизведанного. Стол, чертежи, лампа, которая коптила и бросала на стены тени — длинные, кривые, похожие на пальцы.

Алексей Петрович принёс известие об указе. Гордеев слушал — стоя, у окна, спиной к Алексею, лицом к востоку, к болоту, к лесу, к тому, что было за лесом. Лицо его не менялось. Ни одна мышца. Он слушал так, как слушал всё: как счётную ведомость. Цифры — в уме. Выводы — потом. Эмоции — никогда.

Но менялось то, что за лицом. Он считал. Не «сколько я потрачу на экспедицию» — это он считал вчера. Не «сколько перо стоит на рынке» — это он считал месяц назад. Сегодня он считал другое: «сколько стоит всё». Полцарства. Титул. Первый механик. Монополия. Он считал — и цифры росли, и цифры множились, и цифры переплетались, как корни дерева, которое растёт не вверх, а во все стороны сразу.

— Алексей, — сказал Гордеев, не оборачиваясь. — Государь обещал полцарства. Полцарства — это заводы, земли, люди, рудники. Но полцарства — награда за птицу. Одну. А если перья можно добывать не штучно, а промышленно? Если в Тридевятиом царстве — не одна птица, а стая? Если гнездо? Если линия? Если...

— Боярин, — сказал Алексей Петрович, и голос его был осторожен, как шаг по тонкому льду, — это — предположение.

— Нет, — сказал Гордеев. — Это — расчёт. Перья горят в моём котле. Перья дают тепло, которое в десять раз сильнее угля. Если у меня будет не три пера, а тридцать, или триста, или три тысячи — мне не нужно полцарства. Мне нужно первое место. Первый механик — это тот, кто решает, какому котлу гореть. А если все котлы — мои...

Он повернулся. Лицо его — узкое, тёмное, с глазами, которые были похожи на два отверстия, прорубленные в маске, — было лицом человека, который увидел будущее и увидел, что будущее — его. Не птица. Не перо. Не свет. Власть. Власть, которая приходит не по праву рождения, а по праву знания. Он знал, как перья работают. Никто другой не знал. Котёл, трубы, вентиль — он испытал. Кошечевы чертежи — у него. Карта — у него. Людей он не жалел. Единственного, чего у него не было — это сама птица. Или гнездо. Или тропа.

— Алексей, — сказал Гордеев, и голос его стал тише, точнее, как голос хирурга, который нашёл, куда резать. — Нам нужна не птица. Нам нужна тропа. Птицу можно поймать. Тропу — нужно знать. А кто знает тропу?

Алексей Петрович помолчал. Он был осторожен — осторожен от природы, от воспитания, от семи лет службы у человека, который не прощал ошибок. Но сегодня он сказал то, что не говорил никогда:

— Свидетели. Кто-то видел. Кто-то знает.

— Вот, — сказал Гордеев, и в голосе его мелькнуло что-то, что у другого можно было бы принять за удивление. — Вот это — умно. В первый раз за семь лет ты сказал умное. Свидетели. Но свидетели не приходят сами. Свидетели приходят за деньгами.

Сцена 5. Награда в сто рублей

На следующий день, в полдень, по городу — на тех же досках, что и царский манифест, но ниже, и крупнее, и с припиской от руки, размашистым, уверенным почерком — появилось объявление:

«Боярин Гордеев объявляет награду в сто рублей тому, кто сообщит достоверные сведения о Жар-птице: где видели, куда летит, когда, сколько, какого цвета перья, кто видел — с именами и адресами. Обращаться в контору боярина, с промежутка между восьмой и девятой утра, кроме воскресенья. За ложь — наказание».

Сто рублей. Годовой заработок мастера. Два года — рабочего. Десять лет — мальчишки на побегушках. Деньги, от которых у людей перестают работать ноги. Деньги, которые заставляют видеть то, чего не было, и помнить то, чего не случилось, и знать то, чего не знаешь.

Объявление читали все. Рабочие — на ходу, вытирая руки о фартуки, спеша на смену, но останавливаясь, потому что сто рублей — это сто рублей, и смена подождёт. Торговцы — стоя, прикидывая, сколько свидетелей можно продать за сто рублей, и можно ли продать одного свидетеля дважды. Бродяги — сородичи тех троих, что утонули, — читали, сплёвывали и думали: «Лучше быть свидетелем, чем пловцом».

Городовые сняли объявление с досок — не потому, что запрещено, а потому, что боярину не положено объявлять награду поверх царского указа. Но через час объявление висело снова — Степан позаботился, расклеил по всем доскам, от заставы до заставы, и прикрепил гвоздями, чтобы не снималось. Городовые посмотрели, посмотрели ещё раз — и махнули рукой. Не их дело. Не их сто рублей. Не их птица.

У ворот мануфактуры — к девяти утра — стояла очередь. Человек сорок. Может, пятьдесят. Алексей Петрович вышел на крыльцо, посчитал, побледнел и вернулся.

— Боярин, у ворот — человек сорок. Может, пятьдесят. Со вчерашнего вечера стоят. С ночи спали на мостовой.

— Пусть стоят, — сказал Гордеев. — В девять — начнём. И запиши каждого: имя, откуда, что видел. Если врёт — выгоняй. Если не врёт, но не знает — выгоняй. Если знает, но мало — давай пять рублей. Если знает и много — зови меня.

Сцена 6. Свидетели

Контора в замке Гордеева — пристройка к замку, где раньше была столовая, а теперь приёмная: грубый стол, стул, чернила, бумага. За столом — Алексей Петрович. За дверью — Степан, который не пускал без очереди и выталкивал тех, кто задержался дольше положенного. За окном — двор, полный людей, которые ждали, переминаясь с ноги на ногу, и каждый в глубине души знал, что он — врун, но надеялся, что врёт достаточно убедительно, чтобы получить хотя бы пятёрку.

****Первый — врун.**** Мужик с рынка, краснолицый, с глазами, которые бегали, как мыши в амбаре. Говорил быстро, громко, с выражением, которое должно было изображать правдивость, но изображало испуг.

— Видал! За углом, у церкви Николы! Золотая, огромная, с аршин крыльями! Села на купол, посидела, улетела!

— Какого цвета? — спрашивал Алексей Петрович, не поднимая глаз от бумаги.

— Золотая! Нет — красная! Нет — золотая, но с красным! Как заря, понимаете? Как солнце в облаках!

— В котором часу?

— Утром! Нет — вечером! При закате! Потому что при закате — золотая, а утром — другая...

Алексей Петрович посмотрел на него. Мужик замолчал.

— Вон, — сказал Алексей Петрович.

Мужик ушёл, бормоча: «Жадный ты, боярин, жадный. За такое — и полтинника мало».

****Второй — жулик.**** Женщина средних лет, бойкая, с быстрыми глазами и руками, которые не знали, куда деть себя, и потому теребили платок, край рукава, подол. Говорила складно, с подробностями, которые должны были убедить, но убедили бы только того, кто не слушал.

— Свекровь моя, Пелагея Ерофеевна, из села Подгорного, сорок верст от Москвы, — видела. Огненную птицу. Над церковью. В среду, в сумерках. Летела с востока на запад, низко, над самыми главами. Свет от неё был — как от пожара, но без дыма. Свекровь — женщина серьёзная, не фантазёрка, не выдумает.

Алексей Петрович записал. Женщина требовала деньги.

— Сначала проверим, — сказал он.

— А если не проверите — мне не заплатите?

— Если проверим и подтвердится — заплатите вы. За ложное донесение. Боярин не любит, когда врут.

Женщина побледнела. Её быстрые глаза остановились — на секунду, на долю секунды, — и в них мелькнул расчёт: стоит ли риск против сто рублей. Решила, что не стоит. Ушла молча, не попрощавшись.

****Третий — настоящий, но бесполезный.**** Старик-лесник, седой, сгорбленный, с лицом, которое было таким же морщинистым и тёмным, как кора дерева, под которым он, вероятно, спал. Говорил медленно, тихо, подбирая слова не из осторожности, а из уважения к тому, что видел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.